



Владимир Личутин
Последний колдун

«ИТРК»

Личутин В. В.

Последний колдун / В. В. Личутин — «ИТРК»,

Две повести «Обработно – время свадеб» и «Последний колдун» по существу составляют художественный роман о жизни народа проживающего на севере России у самого края моря. Автор раскрывает внутренний мир и естественные, истинные чувства любви своих героев, проявление заботы и внимания к людям, готовности оказать им помощь, не утраченные несмотря на суровые условия жизни и различные обстоятельства в отношениях и быте.

© Личутин В. В.

© ИТРК

Содержание

1	5
2	11
3	16
4	23
1. Слепой Феофан Солнцев	28
5	32
6	33
7	38
8	46
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Владимир Личутин

Последний колдун

повесть вторая

*...Слово произнесенное – само по себе живет и особую силу имеет.
Если слово неправильно скажешь, оно неправильно и существует.
Из народных поверий*

1

Свадьба догорала.

Последние уголья под остывающим пеплом праздничного застолья едва шаяли, редкая искра веселья сонно, устало вспыхивала по-над головами и тут же умирала, не родив пламени; но Параскева Осиповна еще пробовала всколыхнуть пьяную до чугунной тяжести гостевую душу, ведь так уж ведется на деревне – отпустишь трезвого гостя, век укоров не оберешься, дескать, пожалилась, лишней рюмкой не обнесла, в такой-то редкий день – и каждую копейку учла. И вот, пока последний питух не свалится под лавку, гоношись старуха, выбивайся из сил, но улыбку носи в глазах. Оттого и пеклась Параскева, тянулась, не давая послабки стонущему телу, – будет ночь, будет и отдых – суетилась за спинами родичей на стоптанных, заводяневших от долгой ходьбы ногах, кого-то блаженно тискала за плечи, целуя в спутанную потную волосню, иного будила, окрикивала потускневшим голосом: «А ну, соколик, пить – не долги отдавать. Не подымешь – за шиворот вылью», – и с прогибом наливала в стакашек из отпотевшей бутылки и пихала в зачужевшую от вина ладонь. Она еще пробовала встряхнуться густо сбитым телом, для виду пригубила из пузатенькой рюмочки, так и не ополовиненной за долгий свадебный вечер, и, семена вдоль застолья, зачастила: «Из-за Питера кума в решете приплыла, веретенами гребла, матюками парусила».

– Мотря, ты-то хоть не позорь, – потянула за локоть двоюродницу, едва не роняя ее на пол. – Саня, сынок, кадрилию. Осподи, сидят как замороженные. Перья-то, перья оправьте. Проводим короля да королевишну до пуховой перинки. Не кладите камень в изголовье.

Сын Саня кисло улыбнулся, поставил хромку на колени, короткопалой ладонью слепо нашаривая кнопки.

– Плесни-ка, маманя...

Вылил в себя стопарик, водка пролилась в горло и, чавкнув в животе, улеглась.

– Мастер...

– А что... Наше дело не рожать. Заказывайте.

Ой, дед бабку
посадил в ладку,
поливал ее водой,
чтобы стала молодой.

Тетка Матрена подкатила сзади и, перещелкнув ногтем по железным зубам, навалилась гармонисту на плечи, спутала у племяша тонкий ухоженный волос:

– Баба-то пьяна, дак у нее и задница не своя. Ты слышь, Санко?

– Да ну тебя, – отмахнулся Саня. Застолье словно проснулось, зашевелилось разом, еще сонно засмеялось.

– Ну, Мотря, она как другого племени... Она скажет. Хоть стой, хоть падай.
– А, одинава живем. Без мужа жить, как без соли есть, а с мужем жить, как с перцем есть.
С постной-то жизни и не то еще брякнешь. Эх...

Каращелы – тараканы, тараканы!
Были Едомцы богаты, вот богаты!
Усть-вяжане – вороваты, вороваты!
Не корыстна молодежь – монастырцы.
Оборваны кушаки-то – смольяне.
Бородаты мужики – пылемчане.
Толстобрюхи мужики-то – вожгора...

– Уж веком так. Каждой деревне свое прозвание, свой приговор. Это уж в баню не ходи, – подал хриплый голос дед Геласий и, не снимая толстых очков с медными проволочными дужками, протер стекла изнутри ревматическими пальцами. Борода у старика сваялась, нахватала крошек и сальной подливы, а по клюквенно подгорелым щекам пошел синий отлив. – Мы-то веком бобыли, потому что жита не сеяли, не молотили. Но приговаривали: «Не ткем, не прядем, а ходим в ситцевых рубахах и широких польских рукавах. Ёк-макарёк, любить твою бабу».

И неожиданно заплакал, слезы прорезались по морщинам и затонули в бороде: завсхлипывал Геласий Нечаев в голос: «Все ведь прожи-то, все-е...»

– Ну буде тебе, дедо, буде. Ты у нас еще орелик.

– Какое там...

Старшая дочь Ксения, не размягченная свадебным гостеванием, столь же деревянная, как и в будний день, с зорким прищуром, мерцающая желтым единственным глазом, потащила старика прочь.

– Хватит тебе, хватит. Дорвался тоже.

Еще дверь не прикрылась, как председатель Радюшин словно бы кнутом ударил: «На погост пора, а он еще...» – и грубовато хохотнул, победно окинул застолье азиатски черным взглядом, но супруга коротким тычком в бок остановила его на полуслове. Радюшин побагровел, кирпичные скулы напряглись, но сдержался и детскую прорешинку меж передних лопатистых зубов заткнул «беломориной».

– У нашего татушки, видно, два сердца, и оба железны. На гору-то еще лётом летит, – нарушила опасливое молчание Матрена, и неожиданные приметные слова смягчили и расковали невольное смущенье. Председателя выходка сразу утратила свою нехорошую жестокость, и застолье, отгоняя прочь душевный раздор и хмельную строптивость, снова навалилось на еду и питье.

И только молодые сидели забытые. Степушка столь же прямой, как штык, с неприбранными губами и растерянным телячьим взглядом. Ему бы хотелось распробовать винца, разговеться стопочкой-другой, и тогда уж пойдет вовсе иная жизнь; да и тошно было совершенно трезвому глуповато разглядывать захмелевших свадебщиков, от которых сейчас можно ждать всякой проказы. И Люба, словно бы чувствуя жениховое желанье и досаду, внутренне тоже напряглась и даже слегка отодвинулась телом, накренилась на правый локоть. Она не однажды уже взглядывала на Степушку, ловила его глаза, но парень не слышал молчаливого зовущего оклика, а уставился куда-то отрешенно и немо (так чудилось Любе), и потому ей сделалось вовсе одиноко. Она устала от долгого пированья, от постоянного гостевого досмотра, от любопытных захмелевших глаз, в которых открывалось ей еще что-то нехорошее, кроме доброго любопытства. И неприметно стаяло томительное волнение под напором долгого разноглосья, густых запахов еды и питья и слоистого табачного чада, от которого щемило глаза и хотелось плакать. Ей так невыразимо загрустилось отчего-то, и в горле тут запершило, и Люба

едва крепилась, зажимая в уголках глаз беспричинную будто слезу. А в дальнем закутке души, куда Люба побаивалась заглядывать в предсвадебные дни, шевельнулось что-то похожее на досаду и обман. Лицо у Любы подтаяло, подернулось тенью усталости, и точно бы утратило еще недавнюю влажную свежесть, глаза заглубились, и к вискам просеклись крохотные первые морщинки. Девушка снова пригляделась к Степушке, и его остроносое сухоощекое лицо показалось ей неприятно-чужим. Все так же одиноко топталась у порога тетка Матрена, помахивала платочком, лениво дробила топотуху.

А хорошо гармонь играет
Все четыре пальчика...
Ах рано-рано посадили
Да за решетку мальчика.

Параскева уже не суетилась, хозяйский пыл ее утих и она, притулившись к ободверине, охладело и ровно проглядывала застолье, но, наткнувшись глазами на молодых, материнским сердцем сразу почуяла народившуюся чужеватинку меж ними. Она уловила беду, но сразу не кинулась к сыну, а упреждающе подсказала от порога свадебщикам.

– Молодых-то вовсе кинули. Молоды-ти наши замерзли и прокисли. – И пошла кругом, прогибая половицы и грузно прогибаясь в коленях. Одуванчиковые волосы распушились, и в лице сквозь житейскую усталость проступило уже вымученное веселье. – «Сидит миленок на крыльце, эх да с выраженьем на лице. А у него одно лицо занимает все крыльцо...» Ну пойдём, сынок, Люба, доченька...

Поначалу притиснула их друг к дружке, словно просила, умоляла тайно не чужаться и наладить любовное согласие, но молодые невольно заупрямились и не поддались под ладонью, я тогда Параня, уже скрыто сердясь, ловко выдернула сына из-за стола. И, точно дожидаясь этой единственной минуты, Степушка скользом подхватил чужой стакашек, ловко плеснул в себя и пошел горницей, задробил корольком, мелко семена и сочно охлapyвая себя по тощим ляжкам.

Ух-ух, я петух,
кто меня потопчет.
Кабы курочкой был я,
потоптали бы меня...

И тут выдал частый перехлест новыми, необношенными ботинками, приложил кожаные скользкие подметки к старинной крашеной половице, словно бы весенний дятел прошелся по высокой боровой сушине, а после кинул коленце и чечетку проиграл ладонями на впалой груди; и все так звонко и чисто возникло, такой неожиданный лад оказался в Степушкиной пляске, вдруг так переменялось его нескладное тело, что гости разом, неожиданно для себя, восхитились и загудели.

- Председатель, слышь? Вот тебе и культурник...
- Как портниха шьет.
- Я и что... клубу готовый культурник.
- Та же мучка, да не те ручки. У Степушки и ноги-то по-иному приставлены.
- Люба, Любушка, ты гли, какого мужика отхватила. Артист.

Степушка краем уха слышал эту похвальбу, она словно бы проносилась мимо, не касалась сознания, но тайно сладко покоила душу, и потому парень будто бы вырастал из самого себя, строчил и строчил переборы, дробил на самом высоком азарте, казалось, обгоняя сердце, и слышал только гостевой гуд, прихлопы и веянье потного горячего воздуха. И тут, оскольз-

нувшись, Степушка качнулся и понял, что устал. Нейлоновая рубаша взмокла и походила на рыбью кожу. На ватных ногах он прошел поветью на взвоз, обвалился на перила, унимая надсаженную грудь.

Дверь поветная хлопнула щеколдой, показалось, что изнутри кто-то хохотнул, а рядом притулился братан Василист, коротконогий кряж, щекастый, с ручищами по колени. Обнял Степушку и, воняя сивухой, стал целовать, тискать, приподнимая и встряхивая в воздухе, будто куль с мукой.

– Люблю тебя, чертушко...

Степа обмяк, еще не в силах совладать с собой, покорно обвисал в клешнятых братневых руках, трезво соображая, что с пьяным Василистом лучше не вязаться. А тот не унимался, засунул Степушку в угол взвоза, где стояли водовозные санки: они копыльями больно впивались в спину, и хотя парень был на голову выше братана, однако терпел и лишь вымученно улыбался.

– Ну пойдем, слышь, Василист. Пусти... Скажут, что жених сбежал.

А в это время Степушкин друг Володька, часто морщась и подтыкая к переносице очки, что-то украдкой шептал председателю Радюшину и подсмеивался. Радюшин сидел невозмутимый, словно бы разговор не касался его, только настойчиво ковырялся в тарелке, стараясь подцепить на вилку кусок отпотевшего студня. Потом так же мрачно подошел к забытой невесте и что-то шепнул: Люба искоса взглянула в смоляные глаза председателя, поначалу отказно качнула головой, но тут же послушно встала и вышла из горницы. Мало ли что девушке надо, пошла из-за стола и пошла: проводили невесту взглядом и забыли о ней. И только Люба ступила на крыльцо, в густую сентябрьскую темь, зябко передернув плечами, как чьи-то руки легко вознесли ее. Она невольно качнулась вперед, обняла воловью шею, чтобы не упасть, испуганно вскрикнула:

– Николай Степанович, спустите...

– Молчи, положено так, – хрипло шепнул Радюшин, и голос его дрогнул. Мужик легко пробежал дорогу, спустился в подугорье к Параскевиной баньке и, не отпуская Любу, отпнул ногой приставной кол, распахнул дверь. В баньке было темно, пахло печной гарью и палым березовым листом. Каменицу вытопили накануне, и влажный жар еще не угас. Радюшин посветил спичками, нашарил керосинку без стекла и запалил ее. Робкое дымное пламя выхватило из мрака необычно бледное лицо председателя, и глаза его почудились девушке дикими.

– Николай Степанович, пустите. Это на плохое выйдет...

– Что ты, глупенькая, – придушенно всхлипнул Радюшин, чувствуя, как захлестывает его пьяное желанье, и страхась его. Тут послышались на подмороженной тропинке частые шаги, в распахнутые сенцы влетел Володька и, радостно захлебываясь, зашептал:

– Ищут... слышь, Николай Степанович, ищут. Отчудили, а? Веком положено, а тут забыли обычай. Жральня да пьянь одна.

Любе от этих слов, частых, взбудораженных, стало спокойно, она оправила свадебное платье и ловчее села на лавку, и председатель уже не казался диким.

– Параскева-то Осиповна вопит... Невесту украли, невесту уволокли.

...Параскевины крики просочились и на поветь, и, уже думая о самом плохом, Степушка отпихнулся от братана и кинулся в избу.

– Украли невесту-то, из-под носа увели. Где молодая-то, где? – Параскева Осиповна обиделась, что обошлись без нее, обвели старую вокруг носа в ее же доме, а она и сама бы не прочь вспомнить дедовский обычай. – Прос... бабу-то, плясун.

Брат Саня хихикал, и оплывшие щеки потряхивались над гармонью.

– Жмет кто ли, поди. Так и не узнаешь от кого...

– Замолчи ты. – Степушка круто замахнулся побелевшим кулаком, потом обратно метнулся на поветь, в чуланы, в заброшенный хлев: где еще искать? Потолок был низко посажен,

и парень с размаху приложился к матичному бревну. Он коротко и ранено вскрикнул, сгоряча ощущая, как набухает лоб, и обложил нахолодевшую темь матюком. Старых обычаев Степушка не знал, и ему мнилось сейчас, что кто-то больно и зло подсмеялся и в затайке небось уже зажимает невесту, тискает ее с пьяного ума и жадно слюнявит (долго ли тут до греха), и кто ведает, может, и сама Любка не прочь закрутить прощально в свадебную ночь.

– Курвы, курвы, – кричал Степушка, врываясь обратно в горницу.

– Выкуп, Степушка, выкуп давай, – насмешливо пристала тетка Матрена, сияя набором железных зубов.

– Поди ты... Где Люба?

– Ищи, братец. Найдешь – твоя, – пьяно зудил кто-то. – А не найдешь, уж не осуди. Кто украл, того и будет. – Шутки шутили, ясное дело, но каждое слово ударяло в раненое сердце: гостям забава, а Степушке – боль. Он сполна налил граненый стакан, а на пустой живот пришла водка, и потому хмель дико кинулся в голову.

– Где она, ведите сюда... Или вон, все вон!

Кричал и не слышал себя.

– Господь с тобой, сынок, уймись. Чего мелешь, – уговаривала Параскева, пытаясь усмирить сына. Еще не видала в таком гневе и потому чувствовала невольный страх. Робко присела подле, пыталась приобнять.

– Да иди ты, – зло дернулся плечом.

Свадебщики примолкли, уже растерянно переглядывались, кто-то кинулся искать невесту, тут в сенях послышался бряк, на пороге показался Радюшин, а за спиной его таилась Люба, с головой накрытая старой тюлевой занавеской. Параскева, пытаясь не уронить обычай (ведь и саму когда-то крали со свадьбы), быстренько скovyрнула с бутылки светленькую кепочку, подала в стакане «выкуп». Радюшин, не чинясь, выпил, но по расстроенным лицам гостей поймал грустную заминку и потому виновато подсел к Степушке.

– Ну, прости, крестник... Экий же ты, прости господи. Выпей и утешься.

Степушка снова ополовинил граненый стакан, но не оттаял, каменно глядел в столетию, а невеста стояла подле и не знала, как поступить вернее.

– Ой, крутоват крестник. Ты слышь?.. Вот те и Степушка, вот те и тихоня.

– Да замолчи ты, – одернула Радюшина жена Нюра, – чего нервы людям вьешь. – В косо посаженных голубиных глазах просочилась слезинка и повисла на рыжеватой ресничке. Нюра коротко смахнула ее мизинцем и шепотом добавила: – Меня-то за што казнишь.

Гости, кто в состоянье еще был, пьяно потянулись из застолья, засобирались по домам. Параня кидалась каждому навстречу, тыкалась в грудь седой головой, упрашивала, ведь деревенская родня, что зубная болезнь: ее унять надо, уважить надо.

– Простите, ежели што не по уму. Завтра на блины милости просим. Уж не пообидьте.

...А осенняя ночь досыпала свое, по-за рекой снятым молоком выступил в закрайке неба утренний свет, и словно вдогон ему Паранин петух отбил зорю. Темь сдвигалась, и видно стало, как на оловянной реке круто завивались водяные струи. Еще за окнами свадебной избы мельтешили тени, но звуки уже умерли, и особенная утренняя тишина полонила деревню: вот постоишь на безлюдной улице минуту-другую, и покажется, что все вымерло вокруг, и станет тогда жутко.

Радюшин, покачиваясь и мыча что-то под нос, докурил папиросу, стрельнул ею в подугорье, и клюквенный огонек робко высветил короткую дугу. Жена стояла подле, молчала, подлаживаясь под мужа, боялась перечить. Но утренний холод, да после избяного тепла, взял свое; Нюра передернула плечами, подхватила Радюшина под локоть.

– Поздно уж, Коля... Пойдем домой.

Радюшин вырвал руку и шально кинулся под гору, пьяно подхватывая ногами тропинку: его вынесло на самый урез реки, и он едва удержался на осклизлом камешнике. Сверху просительно и звонко звала жена:

– Коля, ты куда... Коля-ня-а...

Радюшин в мутном безразличии и с каким-то тайным злорадством (пусть-пусть поорет) завалился в лодку и, замутив мотором воду, круто вывернул посудину вниз по течению.

2

Река поднесла лодку к родной деревне еще в утренней сумеречности. Нынче народ залеживался, привык поспать, и редкий раностав, ежели и был в Погорельцах, коротал темные часы в своем житье. Вязкий сырой воздух слоился над водой, и было непонятно, то ли дым печной прогибается над рекой, то ли мелкий дождь бусит, похожий на дым. Затяжной угор бурел, слегка маслянился, и там, на самой лысинке его, едва виднелись коньки крыш.

Зачем середки ночи кинулся к матери – Радюшин не сказал бы сейчас. Как вор, словно тать лесной, он овражком прокрался к отцовой избе, близорукой, поклонившейся земле, и вздохнул с облегчением лишь на задах своего дома, когда миновал зоркий чужой догляд. Родная деревня умирала неторопливо, но обреченно, зная повинуюсь какой-то чужой настойчивой воле (вот и свет ныне отключили, оголили столбы), и сейчас в утреннем стеклке едва брезжила керосиновая лампешка.

Молодым бы только и понежиться, а то в старости какой сон, так – мученье одно: едва прикорнул на одно ухо, а тут уж словно подтыкает кто, велит вставать, вот и полуношничает, отбывает ночь нажившийся человек. И не поймет того, что, быть может, мать-природа напоминает ему: после належишься, а сейчас не дремли, мил человек, не трать времени попусту, иссякает твой родничок, и потому лови, имай губами последние студеные капли; послушай, пока возможно, как дышит земля, трепещет осенняя птица на ветке рябины, звонко дробит в кадцу небесная влага. Послушай, человек, приглядиись зорчее и внутрь себя, и в мир за окном, ведь от твоего века осталась одна краюшка, крохотный неровный ломотек: а после уж все. И хоть устал от жизни, измаялся, быть может, самой последней кровиночкой, но через мученье скоротай в бессоннице закатные дни, проживи их.

Может, потому и не спалось матери, и, как всегда, с первыми петухами поднялась Домна, разламывая поясницу, запалила керосинничек, а сейчас сучит овечью нитку, чтобы к зиме спворить сыну теплые вареги. О нем хлопочет, о сыне единственном, хотя сама у края могилы.

Лишь за окном мать: кажется, протяни руку – и достанешь ее поредевшую склоненную голову, а чудится уже иной, странно недостижимой и оттого особенно родной. И Радюшин, глядя на согбенное ее тело, даже всхлипнул неожиданно от любви и жалости к старенькой. Потом робко, словно боясь напугать матушку, колотнул казанками пальцев в хлипкий переплет, а Домнушка сразу встрепенулась, слепо прислонилась к оконнице, и с улицы хорошо было видно, как напряглось ее лицо.

– Ктой там?

– И не признаешь? – хрипло отозвался Радюшин. На крылечко он поднялся трудно, едва протаскивая налитые свинцом ноги. Сказалось гулевань – выпило силу, и словно не было в теле недавней радости, а лишь скопилась под горлом хмельная тошнота, да где-то в извилинке мозга настойчиво ковал крохотный молоточек: спать-спать.

– Стряслось что, Колюшка?

– Тебе бы все только стряслось. А если просто так, соскучился, может, – неожиданно закипая, буркнул Радюшин, походя приобнял мать и не задержался возле, не обласкал ее усохшие, совсем девчоночьи плечи, а поскорее в избу – до кровати бы только дотянуться. (Ведь как зарекался – больше ни капли в рот, ни-ни, разве когда по большому случаю, по великому празднику. И возраст-то уж не молодецкий, пора завязывать с винцом.) Не раздеваясь, тупо кляня себя, только на одну минутку присел на материну кровать, пахнущую валерианой, вознамерился снять сапоги, наклонился с натугой, да так и кинула его неисповедимая сила на бок, утопила голову в подушке, еще хранящей материно тепло, – и словно умер мужик. Пока мать

дверь запирала да в сенцах впотемни шарилась – сын уж первую фистулу вывел, а после давай зубами скрипеть и вздрагивать громоздким телом.

– Ой, Колюшка, как ты себя не бережешь. Уж седатый, уж внуки, а все чего ли. – Домнушка с горестной смутной полуулыбкой взгляделась в припухшее лицо сына и робко коснулась жесткого подбитого инеем волоса, потом и по лицу скользнула высохшей ладошкой. – Што время делает с человеком... Давно ли малехонький.

Упираясь коленками в кровать, стянула сапоги, а после, едва перекатывая на перине, стянула пальто с разводами засохшей глины и, как могла, освободила от одежд, чтобы вольнее дышалось, чтобы бражный дух не копился в груди.

– Господи, будто оловом налит. Как только его жена держит, – шептала, оглядывая мосластую пожирневшую грудь сына с неровной продавлиной под самым горлом. – А все, как тростиночка, был. Нос да спина... Молоды-ти молодятся, а стары – старятся. Вот и молодым пришла пора кудри отряхивать. Куда и время делось.

Рассвело неприметно, фитиль в лампе зачал, и круто запахло керосином в утреннем посвежевшем воздухе. Задула Домнушка огонь и, не зная, к какому заделью пристать поначалу – каждое ожидало ее рук, вяло придвинулась с табуреткой ко кровати. Так присела, на минутку, чтобы утешиться возле Коляни, наглядеться на родную кровинку, а то ведь другой минуты и не улучишь: ныне сын – казенный человек, народом правит, деревней Кучемой, тамошним колхозом, к нему запросто и не подступишь, все времени нет да времени нет.

Из углов от сиреневых обойчиков текли на лицо сына последние сумерки (хотя у окон-то уж вовсе развиднелось), и потому сейчас на мятом полотне подушки оно казалось сбитым из серой глины. Заматерел сын, виски по-куропачьи посивели, обрюзг, и, только пока спал, отмякая характером, ныне признавала еще Домнушка в этом заветренном обличье с крутым мясистым подбородком того прежнего парнишечку, у которого под прозрачной кожей можно было найти каждую жилку.

Он и с войны-то когда появился – кожа к хребтине приросла, а в глазах тоска и все темноты боялся. На груди ямина не зарастает, точит сукровицу. Наплакалась она тогда: в хлев убежит да возле коровьего бока и вырвется. В висках от слез жилы набухли, кровь так дончит, что голову к подушке не прислонить – подпрыгивает. Под шею кулак сунет, подремлет, сколько возможно. Тут сын заматерится, завопит среди ночи «мама», и волосы у Домнушки дыбом, словно бы кто пятерней голову давит и кожу ногтями скребет.

С полгода, наверное, пожил сын и вовсе заумирал, охота отпала у него на свет божий глядеть. Лечиться бы ему надо, да где она, медицина, так просто ее не схватишь: питанье бы ему человеческое, тогда и на ноги встанет, да только где он – сытный продукт, ежели война и кругом одни недочетки. Куда ни кинь – везде клин.

На лодке шестом затолкалась Домнушка вверх по реке в Белогору, когда крайний срок уже подошел и помощи ждать неоткуда (а там фельдшер жил), на берег своего Коляню выгрузила, на красный камень-арешник, шинелку в изголовье сунула, чтобы ловчее лежать. А сама кинулась в деревню, но до нее версты три надо отбить, да пока транспорт смекала, и вернулась уж в полдень, парень-то угас почти, глаз не поднял, на ладан дышит. Отвезли, поместили в медпункт, но какие тут надежды.

На третий день из Погорельца вновь засобиралась Домнушка к сыну: колобов житных напекла да в грелку молока нацедила, а чтобы сохранить в парном тепле, то и положила грелку на голое тело промеж грудей, да сверху ватник на все пуговки пристегнула. Прибежала в больничку, спрашивает сына, а ей говорят, помер, дескать, только что на этих часах в морг (холодную сараюшку) отнесли. Домнушка и плакать незамогла, только заоченела вся, и ноги ватные, но веры той нет, что ее Коляня, разьединственный сын, и вдруг помер. Пошла она в сараюшку, а сын-то и лежит там нагишом. Встала Домнушка на колени, заревела, заголосила: «Ой-да-ой, залетный сокол мой, надея ты моя единственная, свет мой в окне зоревый, да как же ты угас,

закатился без спросу моего, без разрешенья. А я тебе тут молочка принесла свежего, попей хоть сколько-то».

Как глупая сделалась Домнушка, ей бы хотелось коснуться сына ладонью – так страшно, словно бы тайная надежда рухнет тут, и не подыметься более Коляня. Полила ему молока в губы, а лицо-то у сына и дрогнуло. Оказывается, вовсе ослаб парень, сознание потерял и решили, что мертв, место освободили. Выпросила она в сельсовете кобылу, привезла сына домой и выходила, выпестовала, словно бы заново родила, с того света вернула... А жили еще тогда в Погорельце богомольные люди, черной доске поклонялись, и так говорили они: «Все, как в Евангелие. И пришел Христос, а прознал, что товарищ-то его, значит, помер, случилось с ним – и помер и дух нехороший пошел, закапывать надо, загнил, боле терпежу нет. А тут пришел Исус и сказал – встань, и товарищ, друг его, встал и пошел... И ты, Домнушка, верой подняла сына». – «А как хошь, бабы, скажи. Может, верой, а может, и неверьем. Мне без сына-то край могила. Не верила я, что помрет Колюшка, и в мыслях на худое не думала. Это ведь какое зло тогда над нами стоит, раз последнее отымают». – «Это по одному смыслу, по писанью, Домнушка. Верой живы и спасемся».

И вот кануло время, уплыло рекой, словно и не минуло с войны тридцать лет (встал да лег – вот и вся жизнь) и будто бы слезы-то лил другой какой человек. Лежит сын пластом на кровати, и ничего прежнего в нем: мордастый, твердый волос на подушке, как глухариное перо, спит без дрожи, притих и зубами не точит. А Домнушка по дому управилась (велики ли заботы у одинокой) и нет-нет да к сыну подскочит, думает, разбудить бы надо, а жаль. Пусть поспит, думает, перемелет себя, и боль внутри уймется, сгорит переживание, ведь не зря же вчера так налил вина. У кого только и причастился так? А Кучема день проживет и без него, никуда не денется.

Какого мужика вырастила, и неуж она принесла, такая козявка, не больше метлы, обабок болотный. Ведь богатырь богатырем, эк разнесло.

И что-то ревнивое затеснилось в душе у Домнушки по тому прежнему Коляне, тонкономому, длинношеему, с темными оленьими глазами: того можно было приголубить, зажать в горсть и понянькать, тот был ближе к душе и плоти, словно бы невидимо тянулся на материнной пуповинке. А этому и слова не скажи, только по шерстке гладь, да масляной рукой: ныне узнай попробуй, что живет в его головизне, что прячется там, ибо на каждую минуту свой характер. Хвалилась перед соседками сыном, высоко поднимала, уж ни словечком не похулила, но словно бы присох в сердце прежний любовный корешок, от которого постоянная радость рождалась: видно, суетная жизнь помимо желанья и воли подморозила его вдовьими горестными переживаниями.

Теперь долго рядом с сыном не могла жить Домнушка, как-то тесно становилось возле него, хотя Николай чаще всего молчал; и совестно чего-то (но ведь и не упрекнул никогда); и боязно сотворить несуразное и неловкое, отчего вдруг потемнеет и хлопнет дверью сын. Может, потому и не жила Домнушка в Кучеме, в Николаевом доме (как ни упрашивал, да и невестка зазывала), а коротала век свой ровно и тихо одна в той горенке, где знаком был каждый замытый сучок в половице; у своего окна, затыканного понизу ветошкой, чтобы не сквозило, когда она любопытно подглядывает за улицей, кто идет, да что тащит из лавки; под своей рябиной, почерневшей и узловато разросшейся вширь; у своего леса, куда можно было сбродить за волнухами, шаркая галошами; у своего родника, из которого вода светлее слезы, и чай из нее не приедается. Господи, как прирастает, оказывается, сердце, какими глубинными стонущими корнями пронизывает словно бы насквозь родимую землю. Уж кто ни ездит где-то, ни скитается по белому свету, а душа томится, неприметно исходит печалью, и в какой-то тревожный день вдруг так рванется, что кинет человек любое дело на самой половине и устремится к родной околице. Так как же можно жить человеку без родины? Как, наверное,

надо долго болеть сердцу, усыхать и покрываться струпьями, чтобы никогда более не замутила его тоска по родовому погосту, где упокоились отец с матерью.

Подумать же: ведь будто бы рядом деревня Кучема, верст двадцать рекой – не более, а уж не своя, а чужая. Там и люди-то, видно, иной крови и иного обычая, жита не сеяли и век к земле не касались, оттого и диковаты, и на язык круты. По старым-то временам, так Кучема для погорельских баб – словно другая нация: туда и замуж-то редко шли, разве по нужде великой иль вдруг осиротится девка, не к кому пристать, и тогда ей любая мужиковая спина – затулье, от житейского ветра пристанище. Вот и сын: лет пятнадцать не прожил там, а уж переиначили, все тамошние привычки воспринял...

Сомненья эти постоянно толклись в душе Домнушки, но на язык не выплескивались, упаси боже, да и можно ли было словесно выразить это, ежели сказанное вслух уже начинало жить как-то отдельно и не подчинялось человеческой воле.

Радюшин, видно, почувствовал настойчивый материн взгляд, или внутри его закипало борение со сном, только он приоткрыл еще беспамятные глаза.

– Уж и не молоденький бы так-то пить. – Домнушка утицей присела возле, сунула ладошку к сыну под потную пазуху, но в пепельных, мохнатых от ресниц глазах не прояснилось ничего, кроме ровной грусти. – Пьют-пьют, да и перестают когда-то. И сердце не железно.

Бормотала будто бы под нос, но маломощные, едва слышные слова упорно скребли ухо сына, и, уже пересилив сонную истому и досадливо морщась, Радюшин потянулся и очнулся тут вовсе.

– Где же так угостился, сынок? – Не могла сдержать любопытства Домнушка, но спросила робко, побаиваясь горячего на язык сына. – Не Любку ли Фелицатину пропивали? Вчёрась большим народом поехали, в карбас-то едва запехались. Думаю, господи, хоть бы не опружились да не утопли. А Любка-то вовсе ребенок, еще и титек не народилось. Думаю, ой, девка, торопись – спокаешься. Коня-то запречь, так и то коня сколько раз обойдешь, пока оденешь. А тут гляжу, готово – снюхались. Как на пожар...

– Бабой больше, так девкой меньше. Себя вспомни...

– Нас-то, сынок, тогда много не спрашивали, лишь бы с рук поскорей сплавить.

Радюшин не ответил, а багровея и утробно покряхтывая спекшимся горлом, стал неловко одеваться. Но мать уgomониться не могла, суегилась возле стола, налаживала завтрак, а самой так хотелось вызнать, как свадьбу справили; да богато ли собрали стол; да, поди, и гостей-то со всего света – Параньку бог детьми не пообидел; да весело ли невесту пропивали, старое-то чего вспоминали – нет; да не задрались ли, ведь Параскева – кипяток; да каков жених из себя (старших-то помнила, не раз видывала, а младший, заскребыш, как-то помимо глаз вырос и отлетел прочь); да где жить намерились молодые?

Раз-другой толкнулась Домнушка с вопросом, но сын упорно отмалчивался, но и к еде не притронулся, а когда уходить собрался, загорячился вдруг, видно, хмель мутит мужика:

– Ты чего – смеяться? Ты когда к нам?.. Я что на прошлой неделе сказал? Вбила в голову. Приеду и спалю твою развалюху...

Крутоватость сына неожиданно для Домнушки оттеплила ее душу. Вот сын-то каков, радостно подумалось, не забыл маменьку, помнит. Она сразу кинулась в слезы и тут же дробно захихикала, протирая ладонью набрякшие глаза.

– Ой, сыночек, Колюшка-а... да ты што. И жалко ведь бросать. Свое...

– Опять?..

– Каков черт в люльке, таков и в могилку. Пока ходить-то могу, так вам не в обузу.

Черный повойник на крохотной голове сбился, и сквозь неживой уже, редкий волос видна была неожиданно розовая кожица. И, рассмотрев поближе беззащитно-робкую мать, Радюшин смутился, ткнул губами в седую прядку:

– Я тебе устрою. Увидишь еще. Сколь настырная.

– Устроишь, сынок, устроишь. Спасибо, что навестил.

3

Угорели от застолья свадебщики, свалились, где сон застал, а вино ножку подставило. Саня, тот гармонь за плечом растянул колбасиной, у матери неприметно бутылку из ящика выдернул и отправился в баню допивать: еще в снях из новой погорельской родни девицу за грудь тискал, что-то охальное нашептывал и, видно, заманил-завлек сказками, ибо и та, сторожко озираясь, исчезла вскоре. Сестра Паля в настуженной повети, едва освещенной крохотным пузырьком под притолокой, удерживала Степушку, пробовала вразумить его.

– Ну уймись же. Шуток не понимаешь, да? Как баран уперся, я не я и рожа не моя.

– Иди ты... Идиот я? Выставили на посмешище. – Степушка упирался, обида палила, жгла немилосердно, слеза закипала, невольно вытаивалась на глазах, и парень едва сдерживался, кусая губы, чтоб не зареветь. Но хмель травил, слабил душу, ватные ноги поддавались, гнулись в коленках, и порой тайная сила словно бы отбрасывала Степушку к стене. Тогда он невольно хватался за сестру, больно цеплял за мелкий кудрявый волос. Все кружилось в жениховой голове, какие-то неясные виденья порой проносились, парень ширил зеленые крапчатые глаза, всматриваясь в темный проем дверей, и не понимал, чудится ему что илиь взаправду творится.

– Ну пойдем, не позорь ты нас. Под потолок вымахал, а ума ни настолько, – ткнула мизинцем в подбородок брату. – Нализался, как из бочки. Непутняя башка.

– Да иди ты...

А в это время в боковушке-горенке Параскева Осиповна разобрала постели, откинула в сторону лазоревое шелковое одеяло (сама стегала), взбила наотмашь пуховые подушки, высоко вздымая и отряхая перо, простыни крахмально скрипели под ладонью, и голубой скользкий блеск их отдавал снежным холодом. Фелицата обнимала дочь, тихохонько дула в долгий волнистый волос и тоже унимала в себе невольную слезливую грусть, рвалось что-то внутри, щемяще напрягалось, словно бы в последний раз виделись, да и то сказать – была дочь и нет, обрезанный ныне ломоть, в чужую семью вошла нежданно, а как-то уживется здесь, да найдет ли лад.

– Ну, доченька, ты не бойся. Это радость... Каждая девка бабой станет. Этого не обойдешь, не минуешь. – Еще ближе притиснула дочернюю голову к вялой груди, запела с придыхом:

...Уж я думала-подумала, не знай, кого любить.
Мне-ка барина любить – надо щегольно ходить.
А татарина любить – не умею говорить.
А крестьянина любить, а крестьянина любить, —
Буду век счастливо жить.

– Каки нынче баре? Что поешь-то? – окрикнула Параскева, уловив в словах сватьи какой-то суеверный тайный намек, словно бы дочь свою отдала Фелицата насильно, а сейчас и скорбела.

– Да так, вспомнилось что-то. – Болезненное лицо ее напряглось.

– Ты, Любушка, круче берись. В постели ты королева, слышь? – Цепко схватилась све-кровь, принагнула к себе и, обшаривая невесткино смуглое лицо усталым взглядом, чмокнула в лоб. – Ты половчей применись, вот и в лад.

– Тебя раздеть, доченька? – спросила Фелицата.

Что-то нехорошее почудилось Любе в этих разговорах, она застыдилась вдруг, словно бы нагой появилась прилюдно, покраснела, жаром ударило в щеки.

– Вы что... Не старое время.

И тут первый страх пришел, нагрязнул, дрожь окатила спину, когда поняла, что вот-вот прикроется за матерью дверь.

– Мамушка, останься еще. Что-нибудь скажу.

– Ну не, ну не... Уж доколе. Может, мамушке и в постель лечь? – возмутилась Параскева. – И ты, Фелицата, хороша тоже. А ну марш, не мути, сватья, девку... Эх, Любонька, да есть ли чего слаже на свете. Пенку-то горькую сымешь, а там глыбь. Окатит глыбь-то, зачекотит, и будто заново родишься. Только ты круче берись. Хоть топор и востер, а дерева без топорща не ссекешь... А Степку сейчас подошло, басурмана.

Дверь медленно и туго прикрылась, и, прислушиваясь к нахлынувшей тишине, Люба напряженно спутала на шее потные пальцы и уловила, как туго бьется жилка в самой пазушке. Приникла вплотную к зеркалу, всмотрелась в лицо, словно в чужое: черемуховые глаза пригасли, утратили постоянный влажный блеск, и синие круги под ними загустели, губы зачужели и сухо зашершавели. Облизнула нервно и почувяла вкус табака. Вглядывалась будто бы в неровный взъём коротких бровок и в сморщенный покатый лоб, а следила лишь за дверью, смутно видимой в зеркальной глади. И, словно решившись, порывисто стянула через голову платье, бросила на венский стул и нырнула в постели, зябко вздрогнув от холодных неживых простынь. В сенях послышался шум, свекровь басыла, не тая голоса:

– Поди к жене-то, бестолочь...

Степушка вошел, застыл у порога, шурясь и привыкая к яркому свету. Его покачивало, и он обвалился плечом о косяк. Люба встретилась с его шальными глазами, вздрогнула и натянула одеяло к подбородку, выглядывая из глубины перины пугливой настороженной зверушкой.

– Небось заждалась? Айн момент. Не успеет и мышь пискнуть, как я возле. – Резко погасил свет, но в оконце, низко посаженное над землей, уже потянуло мутной водицей, темь сразу сдалась, и Любе стало хорошо видно, как, путаясь в одеждах, раздевался Степушка, а после, белея телом, побежал к кровати. Он больно схватил ее за плечо, потянул жадно навстречу, густо дыша перегаром, и Люба, внутренне напрягаясь боязливой душой и в то же время томительно желая той греховной минуты, после которой, как пишут в романах, станет все очень просто и разрешимо, робко подалась навстречу, еще страшась чужого тела.

– Сейчас я пошутю, мой черед. Думал, лошади-то моего возраста все подошли, ан нет. – И Степушка вновь как-то безжалостно оперся кулаком на ее тонкое прямое плечико.

От хмельного перегара и прокисшей табачины, от нервных больных тычков и от той усталости, которую впитало тело от долгого застолья, девушке стало неприятно от постороннего насилия, но душа, еще готовно расположенная к любви, тянулась навстречу к суженому, и она, томясь вся, невольно попросила:

– Не надо пока, слышь? Степушка, прошу тебя. Дай попривыкнуть. – Еще Люба покорно шептала, а тело ее невольно напрягалось и уходило от жадных ищущих рук.

– Чего корчишь из себя? Будто и не знаешь, что к чему? Пошутили – и баста. Снимай сбрую. – Пьяное самолюбие и недавняя жгучая обида, растравленная вином, крутили парня, и он сейчас выкаблучивался, выламывался этаким фертом, распаяя себя и круто задавливая в себе недавнюю доверчивую мягкость. – Ну чего лупишь глаза, не русским языком говорю?

Его знобящая дрожь передалась и Любе, и она, сатанея, вывернулась из Степушкиных туго заведенных рук, соскользнула с кровати.

– Ну чего ты, дура. – Парень пытался обхватить ее и бросить в постели, какое-то сладостное буйство подъяло его, оно было куда выше пьяного хмеля и начисто полонило разум. Но Люба обреченно упиралась и тонко вскрикивала, не разжимая губ, и это животное мычанье, это разгоряченное женское тело еще больше распаяли Степушку.

– Ненавижу... уходи! – вдруг вскрикнула и плеснула пощечиной по распаренному лицу. И тут же заткнула кулачком жалобно растянутый рот, глаза округлились и набухли слезой.

Все это случилось так неожиданно и нелепо, что остолбенелый и потрясенный Степушка сплюнул на пол и свалился ничком на перины. «Ну и стой, дура», – глухо выкрикивал в подушки, задыхаясь от бессилья, одиночества и жалости к себе. Хмель выветрился сам собой, потом и тупое забытие настигло парня, и он, временами возвращаясь в тишину комнаты и к своему горю, надорванно постанывал. Было горестно от случившегося, а впереди уже не мыслилось просвета.

Люба так и осталась в углу, бретельки лопнули от возни, рубашка то и дело сползала, открывая худенькие плечи, и девушка запоздало подхватывала сорочку и нервно сминала на груди. Раскаяние и любовь теребили еще полудетское сердчишко, уже вновь расслабленное и готовое к нежным словам, и Люба тихо скользнула к изголовью кровати.

– Степушка, ну прости... глупо все так. Забудь, само как-то. – Шептала и тут же готова была уречься от жалостных слов, так вдруг одиноко представилось. – Ну прошу тебя... любимый ты мой. – Гладила по узкой спине, уже хорошо видной в утренней сентябрьской сумеречности, и спутанной светлой голове, обжигая дыханием узкую детскую ложбинку на затылке, от которой неровными косицами струился волос. – Ну повернись ко мне, прошу тебя.

Тут, наверное, и примирение нашло бы их, потому что полные слезливого раскаянья слова тормозили Степушкину душу и вновь пробуждали светлую благодать и покой, а каждый шелестящий звук как бы наново оттаивал неловко задетую любовь. Парень невольно пламенел, но и на пороге долгожданного смирения еще кочевряжился, показывал характер, отклонялся от Любиной ладони, затевая игру. Но в дверь неожиданно круто ударили, и Параскевин голос позвал:

– А ну, подъем, молодые. Хватит кататься. Где зверь катается, там шерсть остается. Полысеете раньше времени. За жизнь-то еще намнете друг дружке бока, навертите дыр. – Вошла говорливая, осанистая, слегка враскорячку, спрятав отекавшие руки под фартук, и сразу наполнила собою всю боковушку...

Эх, Параскева Осиповна, Параскева Осиповна, зоркая ты баба, и поговоривают, будто от твоего орехового глаза и самому разбитному злотемному человеку некуда деваться, насквозь просмотришь, а тут вдруг оплошала. Знать, от бессонья и давножданной радости, которая хмелит порою пуще вина, иль от свадебных хлопот угорела, но оплошала вот, не разглядела с наскоку опечаленных лиц. Да и то сказать, закрутишься тут, обнесет в такой круговерти и самого бойкого человека, а впереди хлопот еще на круглый день до самых петухов, когда и минутки свободной не ухватить, чтоб протянуть заводяневшие ноги, а так вот и крепишься, матушка, затяни каждую жилку и уповай на бога и на грядущий день, когда все войдет в свои берега; угождай, старая, пеки и вари, пока в силе, да проводи каждого гостя с поклоном, не царяпни обидным словом далеко скрытую ранку, а после только и поди в кровать, как ломовая лошадь, подкошенная излишней кладью.

Потому вся в спешке Параскева, в суете, ей лишнего раза шагнуть некогда, но первую, давно задуманную минуту укараулила, подняла молодых.

– Те-те-тешеньки да баюшеньки. Как почивалось? А гости уж вино из глотки рвут, нажораться не могут.

Степушка подхватил одежду и в одних трусах ускользнул на поветь, Люба накинула платье и пробовала постели прибрать, но Параскева поймала это мгновенье, загорелась вся, оттиснула невестку от кровати.

– Ты поди, голубушка. Твой век длинный. Прибери себя-то. – И скользнула понимающим взглядом по ее лицу, заметила темные круги под потускневшими глазами и подсохшие щеки. – Изголодалась, поди?

Люба смолчала, внутри ее вдруг закаменело все, напряглось от нежданного бряка в дверь: голова от полуношничанья казалась свинцовой и постанывала в затылке. Стараясь не встретиться взглядом со свекровью, пошла прочь, и едва прикрылась за нею дверь, как Парас-

кева ловко откинула лазоревое одеяло. Отстегнула его наотмашь – прямо на никелированные шишечки кровати, глядь, а на белой-то вымятой простыни ни одного даже крохотного розового пятнышка. Ведь только для того и забежала, чтобы подсмотреть, дорогое время улучила, а тут на тебе... Ах ты, профурсетка, ах ты, чудь погорельская, каково обвела старуху. Все из себя молодую репку строила, а тут уж и печати ставить некуда. Я-то для нее, прости господи, убивалась, все честь по чести хотела. Вот они, молодые, что им божий дар? Кроме... и хранить-то боле нечего, да и ту по ветру пустили. Знать, совесть нынче не в чести, раз лечь бы только. Хоть под осиновую плаху с глазами...

От такой неожиданности и растерянности косенько сбежались к переносью глаза, кругом пошла у Параскевы голова, словно в чем-то нестерпимо обманули ее. Темно забродили мыслишки и захотелось вдруг так допечь невестку, чтобы истошно сделалось ей, помучилась, чтобы закровилась душа, слезой изошла... Но он-то, Степка, тоже хорош сукин сын, пень стоекосовый, вешало огородное – кляла уже сына, забыв и свое участие в свадебном сговоре, и ту непонятную спешку, с какой вершились дела. Куда смотрел, где глаза были? Глянул и ослеп, бабу от девки не отличил. Вот уж воистину богом не дано, от овцы – овца родится.

А на печи тесто доходило. По твердой задумке, хотелось Параскеве вернуть в свадьбу забытый обычай, похвалиться невестушкой перед гостями: думалось, у кого-то там блудят девки, чего греха таить – горят нетерпением, а у нее молодка не из той породы, себя до времени соблюла, донесла до мужа сполна, не проливши ни капли. Так мечталось Параскеве вознестись в общей радости, ведь ее твердой рукой положена эта свадьба, но как повернулось вдруг все, вот поди ж ты, угадай наперед. Распорядись теперь по трезвому уму, не пори горячку, хоть душу и пилит тупая ревностная обида. Ах ты... ох ты... И тесто куда девать, поди, квашню рвет.

Потыкалась Параскева в углы, слепо помыкалась и, поникнув, загорбатевав сразу, потянулась стряпать показную кулебяку.

А свадебщики-гулевщики, опухлые, едва продрав глаза, уже кучились за столом, полнились нетерпением, молодых ждали. Саня, старший из сынов, весь растерзанный, одичалый, граненым стаканом охлаждал лоб, прятал за толстое стекло фиолетовый налившийся синяк.

– Ой, трубы-то горят, – хрипло охал и матерился шепотом. – Горючкой бы залить.

Братан Василист пламенел возле широким лицом, словно и не гулял вчера, нарочито не замечал Санькиных страданий и вил странную словесную канитель, наверное, мало понятную и самому:

– Ты слышь? Утром-то по радио. Я и говорю, это как понять? Все плохо и плохо... Деньга у американцев опять пала в цене. Я и говорю, это ж как? Помочь бы, а то что...

Саня оглашенно взглянул на братана.

– Ну что, вовсе? – крутнул у виска пальцем, но заметил взгляд погорельской родни и потемнел. – Трубы-то горят. Залить бы горючкой.

– Я и говорю, это как понять? Вчера в Америке деньга пала, сегодня, передавали, опять пала. А как людям теперь жить? Нужна, говорю, помощь... Это что у тебя за фонарь? Ой-ой, парень, не рог ли наставили, – с умыслом намекнул Василист.

– Да в темноте зашибся, – неохотно буркнул Саня, уводя разговор в сторону. – Где они там, что, век ждать? В одеялах запутались?

– Они-то разберутся, а тебя-то как понять. Наверное, не зашибся, а ошибся? – не отставал Василист. Но Саня вспыхнул, зачастил, заикаясь:

– Слушай, да иди ты... Ну окосячился, зашибся, ну, рог наставили. Твое-то собачье дело какое. Может, и забодали, по губам помазали, а не попробовал. Сыт, наелся? Иль еще добавить на второе?

– Говоркой ты, парень, погляжу. Я и говорю, ошибся. Жена в Ленинграде с пузырем, вот-вот осчастливит, а он... Ох и боевой. – Василист перебил небрежно, да и говорил нудно, с

растяжкой, но глаза сразу почужели, и что-то отстраняюще холодное прояснилось в них. – А насчет добавки? Так и получишь, не отходя от кассы.

– Эй вы, эй, – окрикнули запетушившихся сродников. И тут появился долгожданный Степушка с затаенной тоской на понуром лице, потоптался сперва у порога, выбирая место взглядом, но во главу застолья, где пустели их стулья, не сел, притулился возле Василиста.

– Молодуху-то где потерял? – Саня плюнул на ладонь и пригладил косую челку. – Как медок-то, сладенек?

– Заткнись...

– Вот-вот, всегда так. Чуть что – и заткнись сразу, – еще ерничал Саня, украдкой подмигивал погорельской веснушчатой курочке, постно поджавшей покусанные до синевы губы, которую так и не ошипал минувшей ночью. Хмельная страсть, винная блажь, что ты делаешь с человеком, какие только веревки и не вьешь из него, заставляя выкидывать самые отчаянные сумасбродные коленца.

Ссора зрела над гостьбой, мрак густился, и чуялось, что в любое мгновение возможна перебранка из-за самой зряшной пустяковины, а там и свара вспыхнет и затмит вздорных, раздраженных с похмелья мужиков, и сразу припомнится тогда все полузабытое, до времена таящееся во тьме души, и выплеснется в неожиданно случившейся горячке.

– Санька-то фуфло, слышь? – Нарочито отвернувшись, корил Василист сродника приподнятым тенорком. – Ты не обижайся на него, Степан, а лучше скажи, как понять мне? Вот, к примеру, в Америке опять денюга пала сегодня. А меня, если для факта взять? Наломался в работе, но зато все есть.

– Развел турусы, напустил дыму, – вмешалась тетка Матрена. – Дедки нашего на тебя нет. Он бы прояснил.

– Деда сюда, без деда не сядем за стол! – дурашливо завопил Саня. Вроде бы надолго не отлучался из горницы, а уже сумел ублажить душу, украдкой опохмелился, и сейчас всех готов был любить. Вот так случается с людьми: один после рюмки – душу нарастопашку, каждый для него – мил человек, а другому хмель душу стопорит, наливает ее желчью.

– Да замолчи, уже тепленький, когда и успел. Наша мамушка заумирала. Не ко времени собралась.

– А чего с ей случится. Уж скокой год умирает. Еще и нас туда проводит, – отмахнулась одноглазая сестра.

Тут и Люба появилась, в голубеньком легком платышке с воланами, глянцево-черный волос забран на затылке в тугой узелок, а походила сейчас невеста на девчонку, случайно забредшую на чужой пир. Степушка сразу загорелся, вытянул шею, закрутил головой, но Люба прошла мимо и села во главу застолья на вчерашнее место.

– Долго спишь, доченька, – упрекнула шутиливо тетка Матрена, морщиясь улыбчивым лицом. – А мы уж заждались, нам без молодых тошнехонько. – Ну как, а? – И подмигнула заговорщицки, подталкивая на сокровенный разговор. – Степка-то, гопник наш, мозги крутил: лошади моего возраста все по-дох-ли... Ты его, доченька, покрепче зауздай-то, но и ноздри удилами не рви, слабину давай.

Люба отмалчивалась, еще вся во власти недавней ночи, вымученно улыбалась и поглядывала на дверь.

– Мати-то где, где Параскева Осиповна? Санька, зови мать. А ты, Степушка, не сироти молодую, – уже закручивала новый гостевой день тетка Матрена, призывно сияя железными зубами. Быстро обнесла гостей по первой, свадебщики готовно опустошили стопки, отчаянно крутили головами и долго жмурились, не притрагиваясь к закускам: сразу же наполнили посуду вновь, и вторая рюмка теперь прошла ясным соколом.

Когда-а девчонке лет шестнадцать,

то всяк ста-рает-ся обнять...

У Сани гармошка готовно распушилась на коленях, сладко потянулась, и мужик повел песню с надрывом, прищутив глаза. А Василист, уже багровый от вина, кричал во весь голос: – Фуфло он! Любого спроси! Пустодыра! А у меня во! – и с грохотом выложил на столетнюю волосатые, уродливо разросшиеся кулаки.

– Ты-то работник, уж чего там, – успокаивала племянника тетка Матрена. А Саня растерянно оглаживал хромку и тревожно поглядывал вокруг.

– Темнота... костолом... напросится у меня, – бубнил он, а злиться не хотелось, ибо душа, вновь разгоряченная вином, готовно раскрылась для веселья.

– Ведь не у себя дома. Чего шумишь-то, скажи? – приступили гости к Василисту, укоряя его. – Он тебе чего плохого сделал? Кулаки чешутся, дак поди об угол почешу, а мы тут воли тебе не дадим.

Хорошо, подросла Параскева на шум, а за нею и сватья Фелицата вошла с поджатыми в узелок губами, чем-то круто обиженная.

– Чего не поделили? – Хозяйка локтями раздвинула гостей и меж посудой втиснула духовито пышущий поднос с пирогами. Позади нее забыто как-то и одиноко стояла Фелицата: к низко опущенной груди, перетянутой ситцевым фартуком, прижато деревянное блюдо с кулебякой, Фелицата пытливо приглядывалась к дочери, и по напряженному материнскому лицу было видно, как силится она что-то выспросить взглядом. А Параскева вскинула короткую пухлую руку и, когда все замолкли ожидающе, поклонилась в красный пустеющий угол, после и свадебщикам отбила поклон, видно, с намерением сказать молодым доброе путевое слово. Тяжелое шерстяное платье сбилось, на тупеньком коротковатом носу выступила испарина, веки набухли, как бывает у больных сердцем людей. Но по тому, как молчала Параскева, ошпыливая на груди платье, чувалось тревожное напряжение ее души. Но гостям хотелось веселья, после второй стопки они отмякли и втянулись в гулевань, а потому хозяйкину заминку приняли, как понятную жалостливую растерянность и грусть постаревшей матери, оживившей последнего сына.

– Чего тянешь?! Не трави людей, – окрикнула тетка Матрена, а Саня, улыбаясь застолью, готовно потянулся к хромке. Но что-то грозное мраком подернуло лицо Параскевы, налитое красниной. Но она смолчала, из рук Фелицаты приняла кулебяку и разломала.

– Вот у меня невестушка-то, – сказала невнятно и хрипло. Молодые переглянулись, Степушка внезапно зарозовел до корней волос, нашарил в подстолье влажную девичью ладошку и стиснул ее, а Люба женским чутьем сразу уловила в голосе свекрови недобрые нотки и побледнела.

– Почто пустая-то?.. – спросил кто-то невпопад. Саня пожал плечами и хохотнул, пожилые родичи переглянулись, украдкой улыбаясь.

– Параня, а рыбка-то где? Позабыла? – ехидно спросила тетка Матрена. И тут Фелицата сморщилась обиженно и со всхлипом заплакала. Только тогда дошла до всех Параскевина крутая выходка. Дочь подскочила, зло дернула за рукав:

– Мама, опомнись...

– Ты меня не дергай! Что я такого сказала? Пустая молодка-то, не соблюла себя, вот.

– Мама, зачем вы так? Парасковья Осиповна... – Отчаянный Любин голос, натянутый до звонкого последнего предела и готовый вот-вот сорваться, словно бы пробудил всех, и в горнице стало невозможно от хмельного галдежа.

– Что мама, что? – обманутая в своих ожиданиях, закипела Параскева, слыша и понимая сейчас лишь себя. – Красок-то в постели нету. Где краски, а?

Люба выскочила из горницы, пряча в ладонях лицо. Степушка, роняя стулья, кинулся было следом, но возле матери остановился, ненавистно выплеснул в лицо:

– Не прощу...

– Ты-то хорош? Нужно мне твое прощенье, как заднице ветер, – взвилась Параскева, а после еще и послала подальше, куда Макар телят не гонял. – А вы все... вы чего лыбьтесь? Правду-матку нельзя уж стало сказать? Иль соврала чего?

И тут свадьба окончательно споткнулась, ее телегу раскачало на частых ухабах, и вот она рухнула где-то в середине пути. Погорельские родичи сгрудились в углу, недобро косились на кучемских мужиков, часто поодиночке исчезали из горницы, а после и вовсе ушли, не попрощавшись. Лишь упрямый Василист, набычив морщинистую шею, мычал себе под нос:

– Ну и тет-ка, ну и Параня. Чехвостит всех, только перья летят. А меня не-е... Если меня взять, я по всем мастям. Я не фуфлю.

4

...И вот лежит Пелагея под лоскутным одеялом. Куда все подевалось? Куда истекли эта покатая мощь пухлых плечей, сильные, без единой рыхлинки бедра, круто замешанные груди и спелый налив щек. На кровати доживали мощи, оставалась лишь печальная тень от былой горячей женщины, чудился только странный жуткий призрак, покрытый желтой сморщенной кожей, – глухой, беспамятный и почти незрячий. Как-то сразу подкосило, на одном году: непонятная болезнь выпила человека, переменила его, и жизнь ныне считалась на часы. Но тянулась Пелагея со дня на день, все умерло в ней, кроме сердца и обесцвеченных тоскою глаз, которые вроде бы и не закрывались нынче. Посреди ночи ввернет Геласий лампочку, глянет на жену, а больной взгляд на него в упор, утром слезет с печи – и вновь бессонны два немых белесоватых оконца, сквозь которые из самого дальнего нутра сочится какой-то постоянный зов. «Ну чего тебе, скажи? – порой не выдержит старик. – Молока, чаю?» Но глаза все так же зовуще и немо распахнуты.

А заболел-то поначалу Геласий, с год назад, наверное. Плохо себя почувствовал, неделю не ел. И надо же тому случиться: перед тем как слечь старику, решили прорубить новую дверь в горницу, чтобы не ходить через холодные сени, но окосячить не успели. Пелагея и говорит мужу: «Плохая примета, знать, помрешь, дедко». И Геласий, не обидевшись, тогда мысленно согласился, что верно – помрет. Но вышло-то наоборот, смерть пришла за Палатой.

Утром старик собрался к Параскеве Осиповне догуливать свадьбу, потянулся к наблюднику, чтобы достать махорочницу, сронил взгляд на кровать и понял, что жена зовет его. Геласий был давно уж глуховат – застудился на озерах – и подслеповат (а очки висели под божницей), но по неведомому тайному знаку или по едва уловимому движенью высохшей, почти детской ладошки решил, что Пелагея действительно умирает и просит остаться рядом.

Дочери, так уставшие от матери и ждавшие ее смерти, ушли к Параскеве догацивать. Геласий бездумно снял в красном углу очки, медное седелко ловко осело в постоянную розовую продавлинку над горбиной, и толстые стеклки вдруг вдвое распялили его глаза. Но от этого жена не приблизилась к старику, не стала понятнее в своем желании, как он ни приглядывался к распростертому плоскому под одеялом телу, дожидаясь новой просьбы. Странное такое дело: слышал Геласий натужное дыхание Пелагеи, смотрел на острое землистое лицо, а видел сквозь туман ту, прежнюю, еще в самом цвету, с частой россыпью веснушек на снежном лбу и каштановыми кудельками по вискам. По мелкой походке и открытому залиvistому смеху, порой беспричинному, думалось поначалу – бой-баба, ухвертка, на ровном месте дыру выкрутит, а как поженились, оказалась молодухой на редкость ровной характером, покорливой и понятливой. Порой, правда, вдруг как заплачет. Спросит Геласий: «Ты чего ревешь-то, дура?» В шутку обзовет, скрывая в голосе ласку. А она: «Тебя люблю, дак».

Был в Кучеме первым предколхоза Степан Радюшин, коренастый, здоровый такой вертук, громогласный, в споре не уступит, обязательно перекричать надо. Задумал в Погорельце с отцом делиться – и кухню отпилил от избы; поехал в карбасе – и утопил его. Ему дядя родной и отрубил: «Ну ты и разруха». Так и прозвище прилипло. Собрались однажды мужики на берегу, чего-то заспорили, а Геласий возьми и скажи по пьяной лавочке: «Ты, Разруха, всю деревню разрушил», – и бутылкой хватить его по голове. А пока в сельсовете в холодной отсиживался, убили председателя. Обвинили Геласия в сговоре, судили, устроили в Нардоме показательный суд, дали мужику десять лет. Как приговор зачитали – так Полюшка в обморок, едва откачали.

А мужику-то какво после такого расставанья да от обиды. Сидит в камере, в угол забился, а темно, душно от всякого народа, дыханье спирает. Такие орелики сидели вместе с темным мужичьем, такие ухверты – зазевайся, и враз натянут глаз на задницу, голову с плеч сымут. Задумался Геласий, а у него мигом и сперли сундучок с барахлом и дорожный

тулуп. «Товарыщи дорогие, – воззвал растерянным тенорком. – Верните вещички, любить вашу бабу». – «Свинья тебе подруга, пахан». Смеются урки, им в радость – поиздеваться над ближним. А тут и еще кто-то воззвал, плача и матюкаясь: вчистую подмели, и замок на укладке целехонек. Знать, великие умельцы сидели.

Приуныли мужики, душа заскорбела еще лютее, но временили, маялись пока, смиряя гнев, да и тюремного начальства страшились – за смуту бы лихо пришлось. Но на второй день до буйного состояния накачалось мужичье. В ночь выломали из нар доски, и закипела тут дикая работа: ведь трудно крестьянина поднять, пробудить и встряхнуть, все на что-то надеется, мечтаньем тешит себя, но уж как полез из берлоги, да как поднялся на дыбки, косматясь бородою и забыв и родных, и жену с матерью, и боязни, и надежды, – тут и нет человека страшной. Все трын-трава тогда, душа нараспашку, и гуляет в ней один лишь горячий ветер... И враз усмирили, разложили шпану по углам, не жалея и не скупясь на гостинцы, ибо нелюдь была под рукой, пустой, дрянный народишко.

«Все было, любить твою бабу, доброго и худого, – ровно вспоминал Геласий, уже не злобясь и не жалея ни о чем, думал о себе, словно о постороннем человеке. – Два года отсидел, да четыре – на высылке в Пёше, да после до Берлина в обозе отломал четыре года, а Полюшка ждала. Любит деревня колоколить, ой как любит безвинно ослабить печищанина, соседа своего, а тут хоть бы словечко дурное. Блюла, сохранила себя Полюшка.

Жизнь прожить – всего надо настрадаться да нахлебаться. Всяко век-то наживессе, с коровой и без коровы. Вот и выработался ныне, а не лентяй был, ох, не лентяй. И на работе ценили куда с добром.

Все-таки жизнь не бегом пробежала, а тихой ступью. Если бы побогаче был, то и быстро бы прожил. А так – одна работа до поту. Господи, в малых-то годах мечтанье о богатстве, а в старости – о смерти, больше ничего не нать. Пал бы да умер, и больно хорошо. А когда болезный лежишь, тут и воля не своя...»

Вдруг в груди Пелагеи помимо ее сознания всхлипнуло что иль взволновалось, но в побелевших от страданья глазах ничего не пробудилось, видно, для мысли уже не сохранилось сил. Геласий опаматовался, виновато стал подтыкать вокруг больной одеяло.

– Ну что тебе, жалостная? Прибирал бы господь-то... Мученье такое за што?

Жиденский день едва сочился в слепые оконца: на полатях так и не высветлило. Матерый чертополох скребся о стекла бордовыми шишками и грозился полонить избу... Обрать бы надо под окнами, лениво подумалось, а то не трава лезет – лютый зверь, начисто божий свет отымает. Вот и я, грешник, на кой живу, коли работать незамог. Теперь и деревней пройтись охоты нет. Осподи, как все на памяти. По-старинному бы, дак покаяться надо, вот и хорошо бы.

Бывало, спросишь Полюшку шутейно: «Ты чего реवेशь-то, дура?»

«Тебя люблю, дак...»

От любви ревели, а он, котина сивый, крапивное семя, в те поры по чужим углам шастал, сливки сымал. Бывало, мужики не раз в кулаки брали гулевана, пробовали учить где-нибудь на задворках иль на поскотине, но трудно, ой, трудно достать лесового человека: приклонится Геласий к осеку, жердину из загороди хватить и давай кружить над головой. Плюнут ревнивцы, отступятся: «Мы тебя все одно подловим».

Все ведала Полюшка, а не упрекнула. Только однажды открылась вдруг, будто смерть чуяла. Лежала тогда в больнице, а Геласий-то и приударь за Феколкой. Вечером заволок в сетевязку, тулуп на пол бросил и бабу-то раскинул второпях. А свет погасить забыл, спешил от жажды. Уж кто высмотрел в окнах – неведомо, но по деревне тем же вечером разнесли.

Вот пришел Геласий в больницу, а жена и говорит: «Отец, ты будто опять кобылу купил?» – «Какую кобылу, ты што?» – «В годах, дак и непонятный стал. Бабу-то валил, дак пошто свет не загасил, дурень старый?» – «Ой, прости, Полюшка, кровь ударила. Прости, коли можешь». – «Бог с тобой, отец. Зла не таю, хоть и обидел ты меня». – «Повинную голову меч не сечет,

Полюшка. Выйдешь из больницы, и по новой заживем». – «А-а, – усмехнулась горестно и отрешенно. – Горбатого к стенке не приставишь, из ветра шубу не сошьешь. Вы, мужики, про баб-то как говорите: баба отрожалась, ей уж ничего не хочется, ничего не надо. А сердце куда? Может, в годах-то сердцу еще пуще любить хочется? Вот подымусь на ноги, дам выволочки, за седатый чуб натаскаю...»

Но из больницы вышла, и прошлый разговор будто бы забылся, заковала его Полюшка в сердце.

Не согресишь – не покаешься. Видно, раньше надо было каяться. Нынче-то уж все упало внутри.

...Снова виновато встрепелся Геласий, перевел взгляд на кровать, где под одеялами плоско затаилась высохшая кожурина жены, да костяное обугленное лицо. Холодные глаза отчужденно пронизывали старика.

– Ну что тебе, горестная? Молочка похлебать? – спохватился старик, принагнулся над Палагой, ожидая согласного знака, а в глазах ее уже мертвая пыль. – Осподи, отошла. – И скрюченной ладонью погладил лицо покойной, обжимая твердеющие веки.

Тут в сенях загремело, наотмашку распахнулась дверь, и ввалился в избу внук Василист.

– Дедко, ты чего не на свадьбе? Иль колдуешь опять? – весело загремел от порога, не тая голоса, с придергом повесил на штырь ворсистую шляпу. – Параня-то выдала фокусу, слышь?

Геласий тускло оглянулся, пожал плечами.

– С бабаней?.. – сразу осекся Василист, кивая головой на кровать, и на цыпочках подобрался к старику, украдкой выглянул из-за его плеча.

– Господь, вот... позвал.

Тут в Геласий что-то стронулось внутри, натянуто сморщенную шею: старик завернул бороду и помял под кадыком, освобождая дыхание. «Обрядить надо покоенку... Не ко времени померла – от свадьбы да к похоронам. И девкам-то опять заботы. – Вспомнил о дочерях с некоторой опаской, представил злое око старшей – Ксении. – Вот и намолила Ксюха матери смерти». И снова сдавило горло, душно стало Геласию и потерянно. Потоптался еще возле оконца, вполовину затянутого свинцовым чертополохом, потом, едва совладав с пуговицами, натянул солдатский бушлат, бороду достал наружу и распушил на груди гребнем. От порога тупо, беспомощно оглянулся на костяной лик покоенки.

День выдался нынче сиротский. Опавший березовый лист, еще вчера бруснично рдевший, за одну лишь ночь померк, обуглился и стал похож на обгорелые хлопья бумаги. Небо обвисло, едва крепилось по-над головой и порой редко бусило, меж темных изб струились намокшие мосточки в две плахи. Пока Геласий топтался, в угрюмой задумчивости разглядывавая валенки и блескучие галоши, в проулок ввалились дочери. Впереди выступала Матрена в модных, с дочерней ноги, сапогах и пуховой шали – баба часто посмеивалась, выказывая железные зубы, и хлопала по бедрам, – а позади сутулилась Ксения, угрюмо мерцала глазом и чего-то огрызалась.

– Ты куда, дедо, срядился? – весело спросила Матрена. – Пойдем в избу-то, дак чего ли расскажем.

– Мати наша померла, – не уловив толком, чего кричит дочь, просто сказал Геласий и заплакал.

Женщины, забыв про отца, сразу заспешили в избу, а старик слепо пересек улицу и соседним чужим двором выбрел на угор. Толстые очки запотели иль глаза набухли соленой влагой, но только Геласий видел все вокруг вроде бы как через слоистый дым. Не снимая оправы, он долго елозил мизинцем по стеклам и не замечал, как горячая слеза густо копится в рытвинах подглазий: видно, только сейчас открылось ему все бескрайнее сиротство.

«Вот и я бобылем стал и задумчивость такую имею, что при старости и одиночестве должен помереть. Все перенес, а мука моя, знать, не прикончилась. И жду я ныне того счастья, когда душа моя выйдет из тела. Первое счастье теперь».

Старик так привык к этим мыслям, что они давно казались светлыми и желанными. Он вглядывался в обложное свинцовое небо, а словно бы представлял, куда вскорости вознесется, и вроде бы видел свежий Палагин след, по которому и ему идти. Берег, кроваво-красный, круто сбегал к реке, и эта глубина под ногами порой манила старика: в голове у него кружилось, и ноги слабли, и чудилось даже, вот толкнись он слегка, то и не коснется более земли – такую бесплотную легкость чувал в себе. А река внизу шумела ровно, переливалась на камешнике и кипела от частых рыбьих толчков. В сентябрьский снулый день вода казалась с угора дегтярно-темной и недвижимой, и только на самой излучине, где натыкалась на затяжной перекат, заметно становилось ее тугое напряженное течение. Тут равнодушным взглядом отметил Геласий, как из протоки вывернула баба Леконида, вековуха, мерно, по-мужски пехаясь шестом: лодка была с горушкой набита сеном и сплывала вниз грузно и непокорно, часто урсила носом, как необъезженная кобылица. Но у Лекониды хватка верная, и, смиряя течение непокорной реки, она подвела карбасок к своему постоянному прибегищу, а после, подгибаясь в коленях, стала волочить вязанки сена в угор, на поветь. И Геласий мысленно пожалел Лекониду: «Молока-то каждый хочет, да не всякий на смелится держать коровушку. Надо помяться, прости господи, наломаться до кровавых мозолей, чтобы сенов наставить у черта на куличках. Бабе ли тут убиваться, да у сиротины, знать, надея на себя».

Тут с угора спустился мужик с парнишкой, и Геласий, напрягая глаза, узнал Тимоху Железного. Они сволокли в посудину кладь, часто озираясь, после бестолково пошатались по урезу реки, побрасывая в воду розовый плитняк, и словно бы решили вдруг, в два шеста столкнулись по воде за мысок, и только уж там, за гривкой ершистой осоты, украдчиво всхлипнул мотор. И Тимоху Железного пожалел старик, дожидаясь, когда вынырнет их походная, вставшая на дыбки лодчонка: «Дрянцо мужичок-то, что выловит, то и на ветер попусту кинет. Но дай бог милости, кабы не напоролся на рыбнадзор. Те нынче поднаторели, ловко скрадывают нашего брата». Геласий знал повадки и Тимохи Железного, и белобрысого надзора Васи Щекана и уже представлял, как в полуночь кинет мужичонка в омут неводок за красной рыбой, а тут из-за тальничка, из осоты и возьмет его засада за жабры... «Ах ты, гусь лапчатый, – безо всякой злобы воскликнет Вася Щекан, – ах ты, фараонова сила. Как бы лиса ни виляла, а пойманной быть. Вот тебе, Тимоха, премия за рыбий хвост да премия за потерю бдительности: итого сто двадцать рэ». Посмеется Вася Щекан, справочку выпишет, не отходя от кассы, снасть отымет и умчит на своей «щукке», завивая длинную волну. И, наверное, в это мгновенье екнет сердчишко у Тимохиной бабы: знать, словили мужика, засекли, заломили штраф, а велики ли семейные деньги, так еще вырви из них кусок, словно бы на ветер выбрось, собаке под хвост. А сам Тимоха поскрипит в досаде зубами, смажет по затылку зевнувшему сыну, сорвет в матюках злость и тут же вновь раскинет задиристым умишком, как бы обвести вокруг пальца Щекана. Выберет он ночь поугрюмистой, поненастней, под самый ледостав, вымерзнет каждой жилкой, но свою удачу возьмет. И чем чаще лови такого мужика, тем в больший жесткий азарт войдет он, и тогда не будет для него большей радости, как одурачить надзор, а после и хвалиться откровенно за стопкой вина, и вся Кучема от мала до велика узнает, что Тимоха Железный прошлой ночью под Синовым взял пятнадцать семог. И рыбнадзор будет знать, и даже ткнется в Тимохину избу, покрутит носом, а может, и стопочку вместе пригнут, но несолоно хлебавши и покинет кухню, пропахшую рыбой, ибо не пойман – не вор...

«Знакомо все, ой как знакомо, любить твою бабу, – тускло подумал Геласий. – Тут как вор нынче. Свое – да не свое. Как бы и наше вроде – а не ухватишь. У своей реки да на своей родине, а рыбки не возьми на пропитанье. Но ежели я без рыбки не могу, я без нее помираю и в лавке не ухватишь, как тогда? Вот крадешься, яко тать в ноши. У одного служба, деньги за

то получает, а у другого – нужда, охота. Кого судить?.. Гол – да не вор, беден – да честен. А с другой стороны: украл, продал – бог подал. Украл, поймали – судьба привела».

Лодка Тимохи Железного уж давно скрылась, и звук мотора, истончившись до мушиного гуда, вовсе угас в дождливом сеянце, а старик все куда-то проникал взглядом за угрюмую шеть леса до самого верховья реки, густо поросшего трестой. На полторы сотни верст, каждой излучиной и плесом, яминой и каменистой коргой, затяжным перекатом и хитрою протокой знакома ему Кучема. На шестах ее выходил всю, босою ногою, жалея обувку, пробил по берегам незарастающие тропы, когда бурлачил с юных лет, да деревянные мозоли натер на плечах лямкой, волоча карбасы с кладью против воды из лета в лето. У реки заматерел, у воды и радостен был, тут и согнуло в пояснице, на рыбных ловах и усох. От прежней жизни осталось лишь прозвище – Мокро Огузье, а река – вот она, по-прежнему кипит на перекатах, словно бы уговаривает помериться силой новую, молодую и неистраченную жизнь.

И тут снова Пелагея впала на ум. «В каких мясах была, а всю выпило. Все от природы да к ней – такие мои мысли. Все померем, и мати-земля приберет в свое место. Ежели бы сыра земля не родила да не вскормила, то и никому не бывать. Кормит, поит, потом к себе возьмет, а сама все жива будет. Она – единственная, и перед ней склонимся... А бог, что – знать, был человек хороший, народник, и его прозвали богом. Но только никто не видал его и теперь найти не могут. Все превзошли, а не сыскали. Такие мои мысли: если есть, так надо найти этих людей, видевших бога. Но только нету их.

Мать сыра земля и воздух над ней, и все. И не бог творит, а природа, и в ней дух наш, господи прости...»

Сидел старик Геласий на взгорке и не замечал, как плачет, гложет и слепнет от слез то ли по Полюшке, так далеко ныне отплывшей, что, пожалуй, и не догнать ее, то ли себя, сиротину, нестерпимо вдруг зажалел.

– Кто тут, кто? Откликнись, добрый человек. Кого судьба мне нынче посулила в благодарные собеседники?

Голос был приглушенный, извинительный, с легкой картавинкой, и старик, тугой на ухо, да и к тому же занятый своим горем, не расслышал зова. Тут несильно ткнули батоном в спину, и легкая влажная рука, как бы отдельная от человека, сторожко обшарила Геласия, прислушиваясь кончиками кривоватых пальцев и узнавая самой кожей, нервно трепещущей. И только когда обшлаг из темно-синего твердого сукна ширкнул по щеке, старик равнодушно оглянулся и так же молча подвинулся, как бы приглашая слепого. Феофан Солнцев колотнул батоном по врытой в дерновину скамье и примостился подле, сложившись почти вдвое, и острые коленки коснулись его одуванчиковой бороды. Длинное двубортное пальто отпахнулось, и показались блестящие хромовые сапоги с галошами.

1. Слепой Феофан Солнцев

Феофан сложил ладони на отглаженной рукояти батога и замер, подставив дождю-сеянцу шадроватое лицо: и шишковатый нос с порванной ноздрей, и одуванчиковая борода у самого кадыка, похожая на клочок пуха, случайно налипшего (дунь – и отлетит), и замоховевшие раковины ушей, и желтые натеки глаз под сивыми ресничками – все, кажется, насторожилось в слепом и приготовилось слушать тот мрак, который окружал его.

– Геласий, да ты, никак, плачешь? – вдруг спросил Феофан, поймав странные всхлипы.

– Да Полюшка вот, преставилась...

Слепой не спросил более ничего и не утешил, а только тонким морщинистым горлом, беззащитно выставшим из твердого ворота, что-то все сглатывал, словно боялся и сам расплакаться.

– Я говорю: «Полюшка, тебе молока или чего дать?» А она уж и все. Один я нынче, Феофан Прокопич, как перст один.

– Много нынче на Руси одиноких. У тебя вот дочери... Я Полю твою помню, по большой совести жила... Сколько бобылок на Руси, понимаешь меня? Да чего я: чужое горе – не свое. Ты отвлекись, Геласий Созонтович, дочери обрядят, все по чести. Я вижу Полю твою, такая была заведенная, все два дела зараз работала. Она ведь с Петрогор?

– А?..

– Петрогор-то, говорю, как величали?

– Петрогор-то?.. Да камашниками. А еще обливанцами. Вера такая... Полюшка за меня-то самоходкой ушла. Ты не помнишь, поди. Те обливанцы, они особой веры. Посередке деревни ручей, здесь их обливали, к старой вере приводили. Очень уж любили форсить Петрогора, все в камашах, а летом хоть и жара палящая, а все одно в калошах. Уж такая порода... Полюшки-то негу-у. По-мер-ла-а Полюшка моя, – всхлипнул Геласий, подавился, закеркал, подбирая рукавом слезы. – Бывало, заплачет вдруг. Я ей: «Ты чего ревешь-то, дура?» А она: «Люблю, дак».

– Я ее помяну, слышь, Геласий Созонтович. Я всех помяну, кого память моя не выпустит. Вот недавно колыбельную вспомнил – всю, нет?..

Где коза? В лес ушла.

Где лес? Лес вырубили.

Где вода? Быки выпили.

Где быки? В красну гору ушли.

Где гора? Цветами заросла.

Где цветы? Девки выщипали.

Где девки? Замуж выскочили.

Где мужевья? На войну ушли.

Где война? Далеко она...

– Тоже записал... Раньше думал, не вынесу, сдохнуть лучше. Но потом мысль такую взял: ведь не один я на свете такой несчастный – и давай сравнивать себя с другими калеками. И счастливцев же оказался. Мне ли, думаю, страдать. У других нет рук или ног. Значит, не одному мне трудно, есть еще труднее, такую мысль держу. А было унынье, когда с госпиталя привезли. Говорю, куда я годный, Таня, пойду я в дом инвалидов. А она мне: когда здоров был, я около тебя грелась, а нынче – друг от дружки. После и новая мысль бросилась: чего я в панику ударяюсь, ведь тридцать пять годков по свету ходил зрячим, какое богатство, и небо видел беспредельное, и поля в цвету, и море в раздолье. Да еще пятнадцать лет видел на полглаза.

Но другие-то рождаются слепыми, правильно говорю?.. Не падай духом, Геласий Созонтович, а падай брюхом, прости за выражение. Держись за воздух, земля не выдаст. Как бывший учитель говорю тебе, такое направление духа держу. Когда один идешь, то километр такой длинный, а если с людьми, то и дорога короче. Правильно говорю?.. Жаль, мне писать трудно. Надо, чтобы все связывалось, чтобы на винегрет и компот не пахло.

Но Геласий жил в своей боли, в своих страданиях, и слышал ли он долгие нравоучения – один бог знает. Душа его закаменела, а мысли замкнулись на одном воспоминанье:

– Бывало, Полюшко-то как заревет. Я ей: «Ты чего плачешь-то?» А она: «Люблю, дак...»

Ну что тут сказать, что ответить? Как утишить человецье горе? Сложил Феофан Солнцев ладони на отполированной рукояти батога и только кивал головой, то ли Геласьевым горестным воспоминаньям, то ли своим мыслям, коими переполнилась его темная голова.

– Татушка, пойдем давай в избу-то. Застигнешь. – Неслышно подошла сзади дочь Матрена, необычно потухшая; на голове черный плат, сама вся в темном. – Ну полно тебе умищаться.

Река чавкала в берега, позванивали цепями лодки, урсы кормою по теченью, на плоту перекликались бабы – видно, полоскали белье, ветер ласкался в правую щеку – знать, повернул на север: скоро снега позовет за собою и опять заметет, оглушит забоями. Зимой легче, зимой проще, как бы в спячке живешь, в дремоте, все глухо, отстранение, и запахи холодные, трезвые, не вызывающие никаких желаний... Все понимал Феофан, каждый звук и запах впитывал в себя сторожко, по-звериному, словно бы боялся неожиданно очутиться взаперти, когда всякое существование теряет смысл. И оттого часто вздрагивала его крупная голова с голубой пороховой сыпью в подглазьях, и отечная рябая щека готовно нащупывала любой, едва рожденный звук.

Смирился Феофан давно, кажется, напрочь отгорела в нем та глухая неизбывная тоска, от которой до щепотки золы вышаивает маетная душа и смерть чудится желанной. Раньше зимы ждал, в снеговей отдыхал он, прислонившись щекой к палящей наледи стекла, и все внутри опускалось, замерзало, засыпало. А лета боялся, лето раздражало его, будоражило, кровь закипала, и мутилась от желаний душа; и когда разогретый ветер доносил до крыльца запахи цветущего луга и ближних, истекающих зноем боров – всплывала из черного омота гибельная тоска...

«Все перенести человеку надо, все», – размышлял Феофан, оставшись в одиночестве на берегу переполненной реки. Оловянно катилась вода меж нагих побуревших берегов, полных слякоти, помятые дождями стога расплзлись по наволоку, хлюпкому, раздетому, и по вершинам суковатых стожаров волочилось набухшее волосатое небо. Леса отгорели, отпылали, мокрыми головнями торчал ольшаник, нахмуренные ельники выпятились над щетью поскучневшего березняка, копили в себе стылость и мрак. Самый отчаянный, свежий человек, попав случайно в эту беспредельность тайги, окунувшись в ее зловещую накатную волну, испуганно вздрогнет и ошалевает от сиротства – так страшно и одиноко вдруг станет сердцу, и сожмется оно осатанело в ледяной крохотный кулачок. А если бы Феофану прозреть вдруг? Если бы сподобило хоть на мгновение глянуть на угасающий затрапезный мир – какие бы тончайшие переливы света отыскала тогда его воскресшая душа. Но не дожидаться слепому прозренья.

«...Просто удивительно: сердчишко-то сколь махонькое, не больше кедровой шишки, поди, но выносит такую тоску, – взволновался Феофан, вспомнив вдруг слезы Геласия, и, пока до деревни добирался к избе своей, мысль, внезапно поразившая, все не отпускала его. – Ему бы лопнуть вроде, сердцу-то, надорваться от заболелшей крови, а оно: тут-тук... Все вместить в себя – печаль и радость, а за жизнь-то сколько всего накопится, ой-ой. И все выносить, все замирить, чтобы сердчишко не лопнуло, не порвалось. А присмотреться – так не больше головки чесноку будет. Но какая сила, но какая сила».

По тому, как скрипнула табуретка, понял, что жена у оконца за веретеном хлопочет, а увидав мужа, круто повернулась навстречу тяжело оплывшим телом; это все связал в мыслях – и бряк табуретки, и шлепанье кожаных стертых тапок, к которым не так давно приладил обсоюзки, и длинный вздох. А сейчас вот скажет: «Ну, набродился?..» Но не мог знать Феофан взгляда жены, покорно-усталого, слегка затянутого старческой влагой, и того доброго движенья грузных плеч, с каким она привычно подалась навстречу слепому, чтобы хоть как-то услужить ему.

– Ну как, набродился?..

– Пелагея-то... знаешь? Геласий на угоре плачет.

– Не горько, что умерла, а то горько, что жизнь прожила и не отдохнула.

Феофан разговора не поддержал, привычно пальто повесил на деревянный штырь, ключку зацепил за железную поперечину кровати, сам остался в вигоневых брюках, заправленных в теплые собачьи чулки шерстью к ноге, и ситцевой полосатой рубашке без ворота. К столу прошел легко, лишь однажды коснувшись печного приступка.

– Про Полюшку надо занесть. По смыслу жизни она человек не рядовой. Особенный она человек. – Деловито забрякал сухими пальцами, кривоватыми в вершинке, с бокового столика из-за спины переставил эмалированную кружку с дюжиной обрезанных карандашей и стопку бумаги.

– Баба как баба, – возразила жена. – Мяла всю жизнь, убивалась.

– Не-е, ты постой, так не говори. По смыслу своему она не рядовой, – стоял на своем Феофан. – Помню, одна плачя говорила мужу своему: ты помирай, дескать, раньше меня, так я всю твою жизнь выплачу... И твоя жизнь, Татьяна, достойна описания. Все вспомяну, будто выплачу.

– Типун тебе на язык. Чего мелешь?

– Шучу, Танюша, шучу. Срослись мы с тобой за жизнь-то, срослись. Порою чую, будто нас и не двое вовсе, а один какой-то человек. – Спрятал Феофан лицо, сглотнул неожиданную слезу. Лист бумаги свернул гармошкой и железным ногтем продавил сгибы. Сидел, почесывал карандашом треугольную плешку надо лбом. – Нет, нейдет содержанье, хоть ты лопни, – признался вдруг. – Теченье мысли не то. Ты напомни, что я там ранее натворил?

Жена достала из буфета три толстые тетради «Жизнеописанья», долго листала, отстраняя каждую страницу, щурилась слабыми глазами, бормотала: «Слеза зашибает. Боле ни читать, ни писать не могу. Тебе секлетаршу надо, твои каракули разбирать. Сам черт ногу сломит... Вот последнее, что списала».

Она читала нараспев, часто путалась, и, когда сбивалась, Феофан мучительно морщился и хватался за снежный клочок бороды.

– «...Дудка полонила морковник. Надо бы косить, а тут тянут, пока семена ветер не разнесет. Вовсе огороды запустили. Всю деревню морковником засорили, коряжкой дикой, белым-бело. Бывало, в три утра сенокос, а нынче в восемь едва разминаются. Не сеют ничего и овоща не садят, разве картошку грядку-две. Слава богу, хлеб привозят, а если не будет? А если лихолетье? А такие массивы кругом. И коров-то не держат. Сколько заработают сена, колхозу обратно продают по десять коп. за килограмм – и все. Нынче две коровы на деревню: в верхнем конце да в нижнем, а еще лет двадцать назад было двести десять, да овец – тысячу сто. Молодые не знают, с какого боку к корове подойти. Старый возраст выпал из строя – и все выпало. Эти женщины, которым сейчас по семьдесят, они и работали. Молодым говорю: „Корову-то держите, с молоком всегда, молоко – продукт ценный, на нем и малыша подымете, и сами не закиснете“. А они мне: „Мы, Феофан Прокопич, ныне молока не едим“. А сами в шесть утра уже в очереди в лавке за молоком. Когда было видано, чтобы в деревне за молоком очередь...»

– И сегодня не досталось, – пожаловалась Татьяна, отвлекшись. – Читать, что ли, дальше?

– Ладно, ты погуляй... Время-то летит. Уж зима на запятках. – Пальцем пробежался по сгибу листа, нахлостую примерился. Писал Феофан в наклон, после каждого слова делал отсечку в палец шириной. Жена жалостно поглядела от порога и вышла во двор, тихо притворив дверь.

«...На деревенской женщине, попросту – русской бабе, поднялось все. Двужильная она, безропотная, слезливая и бесхитростная, милосердная и жалостливая. Куда бы ты без нее, Русь великая, без бабы нашей кургузой, сивенькой, мешковатой. Пойми ты ее и возвеличь. Как уйдет из жизни такая женщина, так и сиротеет держава наша. И никто не вскрикнет, не затрубит, что на крохотную жилку стало нынче слабее наше огромное тело... Полюшка умерла, Пелагея Нечаева. А я ее помню какой, такой и опишу, ведь в старости не пришлось выглядеть. Статью она вышла, ноги крепенькие, по женской части все по размеру, уж не похулить, волос – крендельком, помню, палец наслонявит и на виске крутит, это когда безграмотность свою ликвидировала. Еще помню собрание в Кучемской коммуне, кажется, в двадцать восьмом. Обсуждали и осуждали телятницу Сахарову. Только и брякнула сгоряча баба, дескать, вы к телятам относитесь, как к переселенцам, вовсе телят заморили. До слезы, видать, жалела малую скотинку, но слезой не насытишь, вот и кинулась к председателю, вся в горячем запале. А слово, выпущенное на волю, уже живет само по себе, и новый смысл несет, и странную власть обладает. Так я разумею.

И вот на собрание председатель Степан Радюшин, по прозвищу Разруха, и говорит: «Кто за то, штобы лишить Антониду Сахарову нашего единенья? Пусть в лесу попластается с топором, там ей небо с овчинку покажется». Объявил и стал голоса считать. Пелагея возле меня сидела; вижу, голову в пол и руку не вздымает. Разруха к ней: «Нечаева, ты голос подымай. Ты у нас хоть и свежа, но голос имеешь». Они тогда только что с Геласием вошли в коммуну. А Пелагея на весь зал: «Я ничего не знаю. А про чего не знаю, про то и голос подымать не буду». Встала и пошла прочь из залы. Вот тебе и тихоня; бывало, прямо в глаза не глянет, вся засовестится... А для того времени, да чтобы так высказаться с резким направленьем мысли, большой характер иметь надо. А если про ихнюю любовь с Геласием? Роман, ей-богу, толстый роман написать. Молодые-то нынче на нас, старикашек, сверху смотрят, дескать, выжили свое, торчат на дороге гнилушки. Но были и мы молоды, ой были...»

5

Пришел внук Василист. Потоптался позади тетки Ксении, тупо наблюдая, как та раздевает покоенку. Ерошил на голове тугую медвежью шерсть, о чем-то размышлял. Уже отходя, глазом мастерового прикинул бабкино увядшее тело. Метр шестьдесят – отметил в памяти: плоское, безмясое, с проваленной грудью. «Да полно, бабка ли это?» – шевельнулось смутное сомнение.

«Колдун выпил бабушку, – бормотал на повети, пиная всякую заваль и невольно подбираясь к стопе лиственничных плах. – Высосал, глотина. Какая была – живчик, а нынь – одна тень».

Возле избы своей – штабель свежего теса, но словно бы забыл о нем Василист и, отчего-то злорадно ухмыляясь, раскидал пыльное дедово житье. Загодя для себя припасены были плахи у старого Геласия и по длине подогнаны к смерти готов был. И не однажды хвалился в домашнем кругу, дескать, после кончины в разор родичей своих не вгонит; сбил тесовины гвоздями (тут же в масляный пергамент закручены) – вот и готова добрая домовина. И пока старика в избе нет, вытянул Василист эти доски на свет божий, обсадил пилкой под бабкин размер и ловко сшил гвоздями. «Вековечный гроб старухе. Такое жильё долго простоит, и вода его не возьмет».

6

— Да наплюнь ты на них, у баб на дно сто перемен. В голове ветер, в ноздрях дым. Сами разберутся. — Саня то ли уговаривал Степушку, то ли утешал и все не пускал в боковую горенку, где скрылась Люба с матерью, оттирал от двери плечом. — Тюха, Матюха и брат с Колупаем. Идем прохладимся на угоре. На воле-то она вкусна-а, подлючка. — Хитро подмигнул и похлопал по оттопыренной груди: уже успел, хитрован, зажилить бутылку тайком от Параскевы.

Свадьба как-то сразу распалась (только что стоял дым коромыслом), гости незаметно расплзались по большой избе, словно бы затаились, выжидая, и тишина, внезапно наступившая дом, казалась тревожной и гнетущей. Тут, запыхавшись, в сенки ворвалась тетка Матрена: черный плат шалашиком по самые глаза, лицо мокрое.

— Параня-то где? Ах ты, господи. Матушка ведь померла.

— А... там, — отмахнулся Саня, осклабясь, словно бы и не расслышал мрачной вести, и, только тетка скрылась за дверью, подпехнул брата в плечо: — Вот и повод... Титьки по пуду, работать не буду.

— Не надо так-то, — растерянно обронил Степушка, чувствуя внезапно, как в душе его прынул суеверный испуг, но сам тут же покорно вышел на крыльцо. И пока стоял нерешительно возле двери, зябко пожимая плечами, Саня успел мягкие волосы подмахнуть гребнем, синяк подбелил пудрой и ворсистую шляпу надвинул лихо. Выскочил, по-петушиному перебирая ногами, словно бы удирал от погони, но в заулке сразу присмирел, построжел, грудь выкатил, довольный, что снова на воле вольной, сват королю нынче и кум министру.

— Слышь, и впрямь Любка-то... того? — кинул через плечо и отрывисто хохотнул. Весь был Саня округлый какой-то, мягкий и хотя прилично опьянел, но через раскисшую дорогу вышагивал степенно, боялся опачкать кофейного цвета брючки и лакированные штиблеты: фасонистый брат, чего скрывать.

— Ты это брось, — откликнулся Степушка стыдливо, а душу так обожгло подозрением, так грудь стеснило, что нестерпимо захотелось кинуться обратно в избу и устроить молодой жене допрос с пристрастием. Да и то сказать, чего бы ей крутиться? Как на сковороде заегозила вдруг, заюлила. Положено ведь, так отдайся. Если без греха, так чего?..

— Проще надо, слышь? Не будь недоделком. А ты, может, ее и не-е?..

— Ты это брось! — накалил Степушка голос и невольно покраснел, выдал себя. Понятливый брат только хмыкнул и скрыто улыбнулся.

— Какие твои годы, Степ-ка-а. Но не будь недоделком, слышь? Сорока кашку варила сначала мне. Потом кому? Опять мене. А потом кому? Снова мене. Фингал видишь? Зинка вчера, в бане. Вякать было начала: не на-до, Саня, не на-до, Саня. А я: врешь, Зинуля, надо. Через коленку ломай, слышь? Чем большей бабе, тем милей.

Еще что-то говорил брат, мягко выступая по мокрой траве; темно-красные штиблеты глянцево повлажнели, и низы штанин намокли. Саня взглядывал на ноги, досадливо морщился и отчего-то травил себя, наверное вспоминая ночную утеху... Только расположился чин чинарем, уж все на мази, бери в руки вожжи и поезжай крутенько, темно-хмельно, Зинка под рукой так и попискивает, и вдруг — шлея под хвост: «Не хочу вот так, и все. Не хочу без любви, — говорит, — скажи, что любишь». А он ей: «Дурочка, да о какой любви нынче речь». Нет бы подсластить, а он по пьяни такое вякнул, дескать, не мели глупостей, знала ведь, зачем шла, лови мгновенье. Вот и поймал...

Степушка сзади не откликался более, и Саня тоже замолчал, грустнее невольно и вновь переживая недавнее поражение. Оскальзываясь на маслянистой тропе, зачем-то спустились с угора к реке, пошли берегом. Дождь-сеянец снова сник, но небо еще ниже прогнулось понад миром, волоча над самой землею набухшую торбу с осенней мокрядью. Природа потухла,

и грусть, завладевшая миром, все пуще, все безысходней томила Степушку. Хотелось бы кинуться обратно, повиниться перед Любой за такую дурацкую прошлую ночь, но он упрямо тянулся за братом, молчаливо упрекая его в чем-то и даже ненавидя. Казалось, что какой-то злой умысел скрывается во всем, что творилось вокруг. Так и доплелись они до края деревни: Саня часто оглядывался, видно, искал место посуше, где бы можно залечь втайне от людского глаза, но земля отсырела, сочилась водой, берег ржаво бурел, и, словно бы из отворенных вен, хлестали из расщелин коричневые от глины ручьи.

– Долго еще так, слышь? – окликнул Степушка, давно уже готовый повернуть обратно.

– Да погоди ты, – отмахнулся раздраженно брат – знать, отрезвел он, и мучила его жажда.

А на ловца и зверь: только захоти ты, сильно пожелай, истомись, направь свой разум на грех, а сотоварищ по соблазну всегда отыщется. За штабелем ящиков на брезентухе уютно лежали двое. Один – увалистый, простоволосый, пшеничные отросшие космы намокли сосульками, и сквозь просвечивало розовое темя, рыхлое лицо безмятежно-покойно от хмельной сытости, и только крохотные голубоватые глазки ровно посверкивали. Второй мужик – весь коричневый руками, лицом и шеей, вернее, бурый, словно еловый обдирыш, в кожаной кепчонке, сбитой на самый затылок; он стоял на коленях и разливал по стаканам водку.

– Рыбнадзор спит, а служба идет. Речным караульщикам, блюстителям закона от бывшего моремана, а ныне пролетария мой нижайший с кисточкой. – Саня поклонился поясно и ворсистой шляпой обмахнул колени. Ой, умел приноровиться человечина: везде он свой, идол, везде компанейский, без мыла влезет, балагур, как клещ, вопьется, шут гороховый, – и возьми его такого за руль пять. Даже Вася Щекан, на что уж хмурый мужик, и тот весь распустился в улыбке, но с локтя головы не отодрал.

– Санька Пробор? Форсишь все? Давно ли прибыл?

– Да вот... Степку бракую, с ума сошел парень. Кто в наше время женится?

– Ну отчего же. Пока не skies, так надо.

Помощник Щекана (мужику за пятьдесят) только взглянул в их сторону и смолчал, занятый столь благоговейной значительной работой, но рука над стаканом невольно дрогнула и зависла в нерешительности – видно, в душе его схватились гостеприимство и крайнее желание закруглить трапезу в одиночестве. Да и то рассудить: при службе люди, при работе, и чужому-то человеку вылезать на глаза в таком состоянии совсем уж не то же, а тем более распивать с ним.

– Это что за хмырь? – кивнул Саня в его сторону и, не ожидая ответа, присел на корточки подле. – Ну-ка, папахен, подвинь мослы.

Тот послушно уступил место посуше и только шмурыгнул свекольным носом. Видно, что-то в организме сдало, нарушилось, и нос чудовищно разбух и уродливо запыщавел.

– Ну и рубильник, ну и клюв. На пятерых делан, одному достался. Слышь, куманек, совет бесплатный. – Коричневый мужик покорно смотрел Сане в рот. – В замочную скважину больше не подглядывай, а шнобель свой сдай в Кунсткамеру за пятерку.

– Чего, чего? – весело переспросил Вася Щекан.

– В Кунсткамеру, говорю, принимают. Есть такой музей у нас в Ленинграде. Там всякие уродцы в спирте. – И уже заворожил Саня, завлек людей, и, пока молот чепуховину, у того заветренного мужичонки из-под локтя стакан неприметно стянул: и не успели глазом моргнуть рыбнадзоровцы, как зубами вцепился в граненое стекло и, не придерживая рукою, вылил водку в горло.

– В Ленинграде все так? – с ленивой угрозой укорил Щекан, и не понять было, то ли за товарища своего собрался обидеться, то ли фокусу удивлен. Но заводиться, шуметь пьяно он не стал и даже голову не оторвал от ладони. Нынче добродушно настроен старший инспектор: утром вырвался от семьи, а впереди до следующего красного листка целая неделя дикой бродячей жизни возле костерка, иль под еловым выворотнем, иль посреди воды на утлой посудине

день за днем, когда от долгого бдения грудь выстудит, виски заломит и глаза опухнут и затекут от бинокля. Сейчас вот хорошо выпьет, а после падет в лодку и где-нибудь вдали от деревни вылежится в стогу, сам себе бог и судия, а после душу настроит на работу, закаменит ее, постоянную жалость затворит засовами: ведь на службе человек, на зарплате – так лови, добывай браконьера из самого тайного схорона. Чем больше поймал, тем виднее служба. А реки две, и обе по двести верст, и десяток деревень по берегам, и каждому поселянину, выросшему на рыбе, хочется обсосать семужье перышко, закатать в кулебяку леща или сиговое звено, заварить ушицу из свежины.

– Ты зря так, Вася. – Ловко выудил Саня из плаща бутылку и с прихлопом поставил перед Щеканом. – Я, Вася, не из скобарей – из чужих рук не питок. – Уже обиженным притворялся, развалистые брови нагнетал на глаза, но дуться не умел Саня, не из той породы человек. – Работка, смотрю, у вас хлебная. Никто над тобой не стоит, шею не пилят. Возьму вот и намылюсь к вам.

– Сначала портков наготовь...

– Чей такой шебутной? – впервые открыл рот заветренный мужик.

– А Парани Москвы, – ответил за Саню Щекан.

– То и гляжу, что навроде бы Паранин. Такой же говоркой. А это брат его, што ли, такой совестливый?

– Ну...

– Совесть-то, дядя Егор, еще из люльки у меня украли, – криво усмехнулся Степушка. Вышел он из дому простоволосый, в одном пиджаке, а сейчас хмель угас, и стало парню знобко. Ссутулился рядом с братом на корточках, будто несчастный куличок-травничок, до боли растирая ладонями лицо, силился душевно как-то слиться с компанейскими мужиками. Порой словно бы отстранялся Степушка от самого себя и тогда удивлялся, отчего сидит здесь, у реки, а не в горенке-боковушке возле Любы, где в самую пору только и быть ему.

– Братила, ты чего не угощаешь людей? Свадебное давай ставь, – хитро подсказал Саня, уже чего-то смекнув, ибо сам же быстрехонько скovyрнул шапочку с горлышка и оба стакана наполнил всклень. – Мы-то сыты, Вася, мы вина наелись, уже трубы горят.

Щекан выпил, оскалился, мотая головой, осколком печенюшки заел горечь – вот и вся закуска – и не успел охолонуть, как городской наезжий гость остатки сивухи плеснул снова, а зло же нехорошо оставлять на дне посуды, и пришлось питье прикончить. Захорошело в голове, штопором понесло Щекана: «Братушки, да я... да если хотите знать! Я во, если хотите, попросите только! Я, думаете, так просто? Железный Щекан – и все? А у меня тут-то ой болят! – Ударил себя в грудь наотмашь и заплакал, завсхлипывал, но тут же, возвысив голос, отмахнулся рукой: – Прочь, к матери всех, прочь, не желая!» – С головою закрутился в брезентуху и затих, как мертвый.

– Слышь, у меня идея. Сегодня нашему брату воля, – украдкой, переходя на шепот, наговаривал Саня и часто оборачивался назад, где из-за груди ящичков выставала голова в кожаной бурой шапочке, похожая на старый подосиновик. – Давай на рыбалку, а? Тюха, Матюха и брат с Колупаем. Нынче рыбнадзору не до нас. Сеточки кинем, ухи из семужей головы наварим да на природе-то как поедим. Ну, так чего?

– Не толкай в пропасть и не понукай. Не лошадь, не запряг.

– Скис... Эх ты, тесто. Ну и было чего, так и что? Мало досталось или сливок жалко.

– Замолчи, а то схлопочешь.

Но Саня не унимался, не веря угрозыливым словам, поигрывал покатыми плечами, туго покрытыми синим нейлоновым плащиком, от всей души старался помочь брату, истинно не понимая его страдания, похожих на детские капризы.

– Пойми же... Девушка не травка, не вырастет без славки. Ты только после не поддавайся, под ее трубу не пляши. У тебя козырь. Чуть что, с козырей ходи. Моя-то, слышь-ка, жена было

концерты давать, а я ей – фига, поищи другого права качать, а у меня шея тонка, обломится, если тебя таскать. Она ну вонять: не зна-ла, за кого шла, а зна-ла бы, так не-е... дура была. А нынче как спелись: я на первый голос, она – вторым.

– Как в глаза Любе гляну? – тянул свое Степушка.

– Сеточки бросим, по стопарику тяпнем. И все без страха, по своей воле. У костра так давно не сиживал.

– Будто клещ впился, ей-богу. Отвяжись, худая жизнь!

– Ну все, все... перестал.

Неладно начиналась Степушкина женатая жизнь, не клеилась, будто злой рок подставлял ему ножку или черт за левым плечом подмигивал, строил рожицы и кого-то то и дело подначивал на очередную пакость. А иначе как объяснить одни неприятности? Только вознамерился Степушка войти к Любе и повиниться смиренно, дескать, любимая ты моя, прости за дикие выходки, лошадь и то оступается на ровном месте, а я же человек, на руках носить тебя буду и словом плохим не покрою, а тут мать и попади навстречу, от деда Геласия спешит.

– Где вы были, лешаки? Обыскались вас.

Саня, посвистывая, приобнял мать, шутейно поправил черный плат на голове, а Степушка, ковыряя ботинком отсыревшую дернину и пряча глаза, буркнул:

– Мама, перед Любой извинись.

– А чего такого сказала?

– Извинись, говорю, – повторил настойчиво.

– Ха-ха... Угорела барыня в нетопленной горнице. Иль я соврала чего? Нашел пару тоже. – Параскева завелась, побурела, захлопала ладонями по широким бедрам.

– Мама, замолчи же. Чего грязью поливаешь?

– Скажу вот... По правде-то разучились жить. А на хиханьках не проживешь, не-е.

– Не твое дело, слышь! – оборвал Степушка, сдерживая в себе гнев и боясь перейти ту грань терпения, после которой начинается темь. Взгляды их столкнулись, и в затяжной глубине Параскевиных глаз сын увидел смятение и испуг. Лицо необычно одрябло (иль так показалось лишь), щеки присохли к деснам, ведь старая старуха, а чего-то ерестится, жизнь портит и себе, и людям, выдай все и положи по-ейному. Подумал так и почувствовал усталость и жалость. – Зубы-то забыла, – понял вдруг внезапную перемену в материнном обличье. – В стакане забыла иль потеряла?

– Да ну вас, сучье племя. Свистуны! – плюнула Параскева и круто поспешила в избу, подволакивая галошами по обочине. Ссутулилась мать, голова, плотно обтянутая черным платом, казалась рогатой и едва смотрелась над круглыми плечами, и потому походила сейчас стоптанная старуха на кургузого жука-дровосека, лишившегося пружинистых усов.

– А не вяжись ты с ней. Чего пристал к матери? – напомнил Саня. Кровь бродила в нем, будоражила, хотелось веселье продолжить и куда-то силу свою девать, чтобы полностью истомиться. – Ее не переделать, а ты лезешь. Ну сказала, ну ляпнула. Брань на воротах не виснет, размажи да сплюнь.

– Так едем, что ли? – сам подсказал Степушка, неожиданно для себя решившись, лихо-радочно зашпешил и в сенях не замедлил, не стопорил шага, но боковым зрением отметил про себя, что дверь в боковушку прикрыта плотно. Гундосил под нос, шарился в сумеречности повети, хотя знал, что Саня на кухне переодевается. – Чего сетка, сеткой много не возьмешь. Протянем неводком, вот и рыба. Палаге на поминки и с собой в Ленинград увезешь, жене на зуб.

Он торопливо, уже азартно запихал снасть в бельевую корзину, сверху покрыл брезентовой курткой.

В комнатах пахло едой и недавней гостьбой, на разоренных столах кучились объедки, мать сиротливо сидела в переднем углу, уронив опухшие руки в подол, и плакала. На сыно-вей даже не взглянула: только еще ниже, до самых глаз, сбила скорбный плат. Куда-то и дети запропастились, и Палька, и Витька, и Шурка – все вроде бы возле крутились, а тут укрылись по углам, по горницам, никто не сунется под руку и по-доброму не пожалеет, не приголубит, и оттого Параскеве становилось еще горше... При живых-то дитешах и сиротею, думала она. Понять ли им? Только добра желаю, а они нет бы покориться матери, смолчать когда. Вот и сон в руку, будто рыба – не то щука, не то налим большуханский – по дороге ползет, посуху, а голова у рыбы той коровья, рогастая. Так все и случилось: устроили из свадьбы посмешки. До ума вырастила, на ноги подняла, холщовой юбки до старости не сымала, от воды да от навоза сгорела, а они, дитеша лешовы... Ой худо, как у вороны нет обороны.

Слезы копились в морщинах, катились беззвучно из набрякших глаз, но не вытирала Параскева лица: пусть видят, измыватели, пусть знают, как страдает их мать. А сама не столько следила, сколько чувала, как собираются они куда-то, ее сыновья, одежку поплоче напяливают. Наблюдала сторонне, исподлюбя как-то, часто подергивая замокревшим носом, а душа-то бабья помимо желанья так и вздрогнет, так и встрепенется, ох, идола стомоногие, хоть бы к воде не совались, утопнут ведь спяну, утянет водяной – долго ли в лодке опружиться, когда душа не своя. Страдала, но и словом не обмолвилась и на Санькино скоморошье прощание не откликнулась. Правда, чуть позже, когда Палька вздумает полы мыть, окрикнул ее Параскева испуганно: «Чего решила, глупа? Братья родные ведь уехали, не чужой кто. Следы-то сразу кто замывает».

Санька, надев застиранную фуфайчку с материного плеча, сразу утерял свой фасон, поблек, и только черного бархату кепка, посунутая к пожелтевшему синяку, выдавала манеры отчаянного форсуна. Он сразу кинулся на угор, помахивая пустой дерматиновой сумкой, а Степушка, нагрузившись кладью, еще потоптался у немой двери, сам душою ополовиненный. Представлялось, что Люба так же мается в горенке, плачет, поди, а может, теща Фелицата подбивает ее к чему дурному иль норовит домой обратно увезти и когда вернется Степушка, уж беда ждет у ворот... Ну и не надо тещиных блинов – встанут в горле. Подгорячил себя, еще чумно потыкался по сенцам, а после ногой настезь отпахнул дверь и, подгибаясь в коленках, поспешил за братом вдогон.

Тот караулил, оказывается, за банькой. На десять лет старше, а стал канючить позади, как малый ребенок: «Слышь, Степка, горячительного-то, а? Рыба ведь посуху не ходит». «Как знаешь, как знаешь», – равнодушно отмахнулся Степушка, занятый своими переживаниями, а Саня какое-то время еще тянулся следом, после неслышно исчез из виду и вскорости воротился к реке, посвистывая довольно, и дерматиновая сумка тяжело провисла в руке.

7

Деревня сегодня в предчувствии затяжной осени необычно постарела, хмуро набычилась, в слоистом заводяневшем воздухе избы намокли до черноты, и на угоре противу обыкновения никто не толпится. Только изредка отмахнется рыженькая дверь магазина, кто-то сбежит с высокого крыльца и, сутулясь, тут же исчезнет за углом. Не было нынче смотрящих, не от кого было таиться сегодня, и что-то выдумывать, и загодя привирать, дескать, за сенами вот собрался на Митюшиху или, что еще смешнее и нелепее, в Осиновиху за грибом, хотя рыжика тут вот, прямо за кладбищем, хоть лопатой гребь. Некому сегодня крутить завиральни, твердо зная, что все загодя угадано и половине Кучемы известно, куда наладились мужики, ибо рыбак виден и чуетя издали по сосредоточенности лица и беглости взгляда, когда он суеверно старается избежать встречи с посторонним глазом. Но в этой-то тайне, с которой уходили на промысел, видна была своя радость, своя игра, когда затеянное предприятие наполняется азартом: ведь мало только закинуть поплавь и достать рыбы, но надо и таиться, рисковать и, постоянно помня о караульщиках, опасно напрягать сердчишко... Хотя во всем этом ныне запретном промысле, положив руку на сердце, много ли вы найдете забавы, легкости и безделья? Представьте затяжную осеннюю ночь, полную мокряди, когда и нитки сухой на теле, и костерок запалить – боже упаси, а каждая телесная жилка стонет от холода, и руки сбиты до кровавых мозолей, и, может, не раз зашибся в темноте, но, скрепив зубы, страшишься выматериться в полный голос и хоть этим утишить боль, ибо кругом таится страх, за каждым облаком прибрежного куста – засада, а то и убежать вдруг придется: надзор повис над кормой, уже настаивает, и по высокому вою нагретого мотора слышна близкая расплата, а тут своя тачка лишь сипит, и хорошо, если в последнее мгновенье, когда, кажется, уж поседел, вдруг забренчит в суставах, – а там дай бог ноги да ближний тайный схорон. Нет, братцы, труса на такой лов не затынешь, и холодный человек отмахнется от подобной рыбалки, ведь куда ловчее выспать ночь подле сдобной жены в теплых перинах, а после, следующим вечером, прийти с хозяйственной сумкой в избу удачливого рискованного мужика и выудить семужье звено за косушку водки...

– Ну, трогай, саврасушка, – скомандовал Саня, усевшись поудобнее на бельевую корзину со снастью. Степушка отпихнулся от берега, пристально взгляделся в близкое дно. И сразу думы затеснились, такие лишние сейчас. Трудная река Кучема, с норовом, мыслителей она не любит, глаз да глаз тут нужен и чуткая к мотору рука: только ушел в себя, зазевался – и замшелый камень под винт. До первого переката не дошли, как полетела шпонка. Пока возились с мотором – намокли, и Саня захандрил.

– Давай для сугреву, – стал упрашивать. – По махонькой, по ма-хонь-кой, чем поят лошадей.

– Если под каждым перекатом пить, не стоило и трогаться.

– Так уж и сразу. Чего торговаться? По одной, а?

Степушка, сдаваясь, огляделся: низкий берег тянулся ровно, осота уже загрубела и пожелтела, дальше по наволоку едва проглядывали обвершья зародов, а за крутым коленом реки угадывалась деревня. Недалеко ушли, и двух километров не отметили, какой тут отдых? Но Саня разыгрывал, стучал знобко зубами и не садился в лодку, потом выхватил сумку и по глинистым клочьям полез на бережину. А сыро-то было кругом, вода под сапогом хлюпала – не присесть: пришлось достать брезент и раскинуть на отросшей отаве. Но если решились опустошить по стопарику, то надо и заесть чем-то? Вот и снедь разложили, уселись поудобнее, а после зачина и безмятежное спокойствие нашло: провались все в тартарары, какая уж тут рыбалка на ночь глядя, да и далеко ли уйдешь по такой реке, если за каждой излучиной вода кипит на камнях, и только большой знаток может ровно, без помех забраться на лодке в истоки.

А тут раз в год приедешь из города, на чужой посудине свозят тебя и неводок закинут, а ты, по-родственному, только ложку почаще запуская в котелок, да выбирай семужьи черева. Не каждый день человек в гостях, оттого и вниманье ему, и кус послаже. Забыл Степушка реку, отвык от ее характера: после первой же рюмки тайно признался себе в этом, но на словах еще хорохорился, тормошил брата:

– Тут тебе не у тещи в гостях. Хотя и сбил меня не ко времени... Но рыбалкой угощу. Я ведь не Василист. – Почему-то с обидой вспомнился братан. – Кто раньше не ловил, тот и нынче не ловит. Тут азарт нужен. С Василистом, бывало... Смех ведь. Окунишко выдернул, с палец длиной, вот таку-сень-кий, загнулся – едва видно, а он его коленом-то прижал да и кричит на все озеро: «Уймись, зверь!» Окунишку-то дерг, напополам и рассадил. Во рыбак-от...

В душе Степушки словно бы запруда рухнула: всю свадьбу язык на замке, а здесь заговорил вдруг с лихорадочной горячностью. Саня молчал, под рыжеватыми козырьками бровей пыльные глаза улыбались, но в глубине их таился недоверчивый холодок, мол, давай-давай, заливай пуще, а я послушаю; чуя эту далеко спрятанную насмешку, Степушка заводился еще круче, словно бы доказывал что:

– Не веришь?..

– Гы-ы-ы...

– Не веришь, да?

– Ух ерш-скобаревич. Ты не заводись только.

Незаметно одну посудинку опустошили, и Саня из дерматиновой сумки, стоящей подле, выудил вторую.

– Да я здесь, если хошь, каждый камешек знаю! Мне город-то – во! – черкнул Степушка ладонью по шее. – Думаешь, я тихоня, сопля. А фигуру из трех пальцев не? Я над собой не дам плясать. У меня силы хватит, не гляди, что тощей... Парня одного изуделал, на аптеку поныне работает. Не захотел, зараза, пол в комнате мыть. Давай ереститься, давай выгибаться на публику: я не я и рожа не моя. Его очередь, а он фраера корчит. Морда во, кирпича просит... Я только на вид худой, слышь! В кровь его, собаку, уделал! Сейчас первым лапу подает. Ты меня, Санька, не знаешь...

– Ладно, братуха, не кипятись. Может, баиньки! – Саня приобнял Степушку за плечи, пробовал повалить на брезент, а сам уж раскис весь, безвольно обмяк, готовый в ту же секунду забыться. Да и то сказать: на старые дрожжи, да новый хмель – много ли тут надо, одна лишняя рюмочка любого питуха с ног кинет. Но Степушка распалился, заартачился, обидно думалось, что и здесь ему не верят, родной брат насмешки строит. Схватил Саню под мышки, пробовал поднять, орал в самое ухо:

– Я тебе покажу... не веришь, да? Я такой омуток знаю...

Но Саня каменно обвис, тело отсырело и затяжелело вдвойне, он уже и говорить не мог, а только мычал: «Баиньки давай».

– Я тебе покажу баиньки. Чего разлегся, боров сытый.

Через надсаду и муть в голове все-таки удалось поднять брата, и он стоял даже некоторое время, пока Степушка подпирал его со спины. Но вот неисповедимая шальная сила повлекла Саню к земле, и он тяжело обрушился посреди брезента, раскинув руки. Степушка тоже покачался над ним, тупо размышляя о чем-то, но вот и его ноги ослабли, и парень, сложившись комочком, прилег на заолодевшую траву. Луговина напиталась осенней водой, от нее тянуло предательской сыростью, и коварная земляная тягость неслышно вливалась в каждую опущенную, бессильную жилку. Лежит человек и не ведает в хмельном бреду, как сила и здоровье по капле утекают из тела. Разломавшись по молодости, он завтра еще легко вскочит, может, и крикнет от мгновенной стреляющей боли в пояснице, а после и забудет вязкую осеннюю ночь, в которую он, не зная того, крепко пошатнул здоровье. А за что, за какую такую услугу

столь бесценная плата? Спроси его, отрезвевшего, с посиневшими трясущимися губами, и покаянно-безмолвно понурится человек.

Река чавкала, билась в берега, бессонно ворочалась на каменистом ложе, жиденький свет зарождался по-над лесом, словно бы там плутали с лучиной, и снова мерк. Кому бы там шататься? Чья такая душа блудила в потемках по ночному взрытому небу, так похожему на забытую пашню? А тут и моряной потянуло, огрубелая трава сразу подсохла, заершилась, и похоже, что инеем опушило ее. Луговина, как бы принакрывшись плесенью, вдруг проступила из темени, и тут же на ближней осотной лайде, полной дождевой воды, заворочался журавлиный подрост и, пробуя горло, заскрипел жестяно, завсхлипывал, словно бы в забытой избе качнулась на ветру дверь. Ветер-то едва тянул от моря, он только наливался предзимней силой, но сразу же высквозил и выстудил все на миру. Вздогнул Степушка, но не очнулся пока, только опухшие багровые руки протиснул по-детски меж колен и что-то жалостное простонал. Может, привиделась молодая жена, ее налитые слезой укорливые глаза проникли в самую душу, и Степушка, уже прощенный и простивший, тянулся к смутно белеющему плечу и скомканной на груди рубашонке, силясь разъять испуганные пальцы...

Саня, тот очнулся сразу, потянулся до хруста в хребтине, здорово и сыто хукнул, прочищая от перегара глотку, а голова после такой-то затяжной гулянки оказалась на диво пустой и свежей, без всяких смутных тревог. «Наелся винища, нечего сказать». Вдруг вздрогнул, знобко перебирая лопатками, прислушался к себе: сердце в ребра толкнулось сильно, без сбоинки. «Набрался опять, – подумал без раскаяния, даже с некоторой хвастливой гордостью. – Уго-раздило же черта. И неуж все вылакали, скоты?» Потянул дерматиновую сумку с испугом, но ощутил полновесную стеклянную тяжесть и успокоился. И так радостно стало, что вчера до края не дошел, до той пьяной глупости, когда все трын-трава, не набрался, норму выдержал и на опохмелку «гранату» вот оставил.

– Ну и северик... до костей пробыет. Степ-ка, подымайсь, заколеешь ведь! – Позвал негромко и вяло, да и лихо в такую рань драть горло. Степушка заморенно скукожился на траве, что-то бормотал и цапал рукою брезент. Тогда, заранее расплываясь всем лицом, Саня добыл бутылку темного стекла и чмокнул граненым стаканом. Брат очумело открыл глаз, кровавой от плохого сна, пятнистый, с набухшим сиреневым веком, и, сдувая в сторону подмороженные инеем былки, долго и недоуменно уставился куда-то мимо Сани в колышущую пелену сумерек, на дне которых угрюмо катилась река.

– Эй, рыбак, рыбу-то проспал!

Степушка, молчаливый, с зачугуневшим лицом, сел, как идол, подогнув калачиком ноги, но в опущенных губах, во всей сутулости спины виделось такое страдание и грусть, что Саня невольно сбавил ернический тон и зажалел брата:

– Ну брось ты, ерш-скобареvич. Давай для сугреву трахнем, – щелкнул ногтем по толстой бутылке. – И по домам, а? Как находишь?.. Там Любка пожалеет.

Тут за поворотом неожиданно загундосил комарик, сначала едва слышно просочился его голосишко, беспомощно проткнул настоявшийся сыростью воздух и захлебнулся тут же, но вот гуд как-то сразу стал гуще и толще, выстелился над водой, еще пустынной и завитой, и вдруг забасил мужиковато и натужно, когда лодку вынесло из-за ближнего мыска.

– Кого-то черт несет? – стал угадывать Саня, не столько из собственного интереса, сколько из желания растормошить Степушку. – Стражнику бы – так не время. Как ты думать? Еще не очухался, поди, сопит в две дырочки. Работнички, слышь, Степка? С работы таких в три шеи... Только и знает белую коровку доить. Эй-эй! – Завопил вдруг, бархатной кепкой крутнул над головой, в простуженный крик подпустил жалостной слезы. – Братцы, помогите пропащему человеку!.. – И тут же хитренько добавил, не оборачиваясь к Степушке: – Думаешь, без рыбы идут? Черта с два... И чего он крутит, сексот поганый.

С лодки их заметили сразу, но, однако, приворачивать не спешили – знать, опасались чего, тянули волюнку, сидок на корме егозил и что-то кричал, а после, решившись, все-таки приглушил мотор: посудинка сразу огрузла, вода зашипела, отваливаясь от бортовин, и седые усы за винтом опали. А Саня примерился несколько раз, уже забыв про Степушку, и бутыль синего стекла загородил ногою; в роль вошел человек, душа загорелась, даже в потную дрожь бросило – так захотелось облукавить ближнего, обвести вокруг пальца.

Начальный разговор был торопливый, на одних возгласах: мужик остерегался засады, а Саня заманивал.

– Ну?..

– Баранки гну, – ткнул Саня пальцем в сторону лодки.

– А-а...

Сразу смягчился Тимоха Железный, шестом подпехнулся в берег и шапчонку (когда-то каракулеву) сбил на распаренный затылок, открывая круто срезанный лоб и плешинку с редким паутинчатъм волосом.

– Со лба лысеешь, друг. Видно, много думаешь, как бы надуть? Волос-то ладонью вытер. – У Сани слово не залежится на языке, весь в мать, и сказать он умеет так, что вроде бы и смешно на первый взгляд, а раздумаешься – так обидно ведь. Но Тимоха только хмыкнул, и по закостеневшему багровому лицу, какое бывает чаще всего у язвенников и людей, сильно пьющих, пробежало смутное отражение улыбки.

– Знашь-ти... Щекан, думал. А он ловок. – Полез на берег, но правым, здоровым глазом так и пробуровил все вокруг, просверлил на три пяди и под ногами, так остерегался засады, а Саня, ловкач питерский, будто ненароком отодвинулся, уступая дорогу, и открыл взгляду снаряд «солнцедара» и брезентуху, заманчиво раскинутую на луговине, уже примятую долгим сидением. Тимоха стесненно, сбоку пригляделся к бутылке, и сразу тягучая боль подкатилась к пуповине, и колени, отсыревшие в долгих резиновых сапогах, нестерпимо заныли... Ревматизма проклятая дает знать. Винишко-то дрянь, клопов токо травить, но для тепла разве, требуху согреть. Так подумал лишь, а сам уж неловко, с прежним стеснением опустил на самый краешек брезентухи, вернее, на отмякшую траву, мохнатую от сырости.

«Простодыра, чего там, – решил Саня. – Его-то вокруг пальца обовью».

– Вино сам видишь... Заборы красить. Да где лучше-то? Осенью поганка, а зимой – руль банка. Может, стопочку осилишь? – Ведь не предложил, черт такой, а будто бы упрасивал. Ну как тут откажешься...

– Разве что одну... Эй, Витьк, побудь тамотки, – крикнул сыну. Тот сидел на клadi посреди лодки, готовый в любую минуту дернуть пускач мотора. Мальчишка независимо ослабил, показывая хищную зернь зубов, и по-взрослому матюкнулся. Был он без шапки, в такую-то холодину, и бараний волос просторно курчавился над худенькой головенкой. Отец сделал вид, что не расслышал матерщины, близоруко приткнулся к бутылки и стал читать по слогам: «Сол-неч-ный удар»... Выдумают же эго. Глупый народ заманивают на дешевизну. Говорят, има токо кишки травить. – Потянулся к стакану и по случайно забытой копеечной блестяшке чешуи на рукаве, по красной стружке крови под отросшим ногтем Саня уловил: семга у мужика есть.

– Говорят, женился? – Тимоха повернулся к молчаливому Степушке половиной тулова, будто бы сейчас только заметил его. Стакан подрагивал в ороговевшей ладони, но хотелось сладостное мгновение растянуть, и потому мужик медлил. – А родича не позвал, эх ты... Я Параньке-то, как ни крути, двоюродный племяш.

Говорил Тимоха строго, обгорелое на ветрах лицо пристойно, можно подумать, что хозяин сидит, деловой человек, да только вся деревня знает – тепа он, сама простота безотказная, хоть веревки из него вей, к любым рукам пристанет. А женился-то как? Смех вспомнить. Баба на пятнадцать лет старше, вовсе заваливающая женочонка, оторви да брось, ни кожи ни рожи,

а по хмельному делу как-то стакнулись, и быстрехонько понесла она от Тимохи. Однажды ночью заявила в его избу (родители в летней половине спали), тут же бельишко в узел смотала и сонного парня в свой дом увела, а было жениху тогда двадцать три. Шестнадцать лет вместе прокантовали через грех, но семерых настрогали лихо; нынче бабе уж за пятьдесят, нажилась она с мужиком, а теперь каждую неделю Тимоху вон из избы гонит: «Поди прочь, железяка хренова, – на всю деревню вопит, – не нужон ты мне более».

Выпил Тимоха, скуксился, и левый вывернутый глаз в пронзительно-багровом ободке еще пуще выкатился. Рыбак Тимоха, лесовой человек и по гражданке монтер понятливый, тут не откажешь ему, но чаще удача для него в грех оборачивается, а то и в беду прямую. С глазом-то у мужика как случилось? Опять же вся Кучема со смеху надорвалась. Шел, дескать, по линии, встретил медвежонка, оглянулся: матки вокруг вроде нет, вот и хватъ животинку – да в монтерскую сумку и кинь. Думает, ну удача, вот радость: за медведя премия, да ежели в надлежащее место сдать – снова деньги большие. И только сердчишко счастливо заторкалось, тут мамаша из-за куста и выкатила, как грозовое облако, такая баржа, как есть ужас господний. Бежать от нее – так поздно. Хорошо, успел ноги в монтерские когти сунуть, да по-беличьи на столб взлететь: никогда раньше за собой такой прыти не знал. Медвежонка-то вернул, тут не до премий, но мамка лесовая, словно на карауле, до вечера выходила вокруг столба. Как до Кучемы добрался, уж не упомнит, а утром в больницу, да два месяца там и вылежал. Нервное потрясение признали. Сначала правый глаз выкатился и обратно залез, после левый глаз вывернулся, да так и остался. А жена исказнила: лето прошло, железная голова, а у тебя ни копейки сена, чем думаешь корову кормить, барин; нет, вы поглядите, люди добрые, какое счастье за ним жить, он только добро переводит. Он выгоду нашел, на дороге подобрал, непутня башка. Откуда на мою голову свалился?..

Степушка не пил, то ли грезил он, то ли дремал, за одну ночь выхудал с лица, нос заострился и еще более скатился к губе, и под зелеными крапчатыми глазами залегли глубокие тени. Зато Тимоха Железный с Саней Питерским горячо принялись за бутылку и скоро уговорили ее.

– На закусон хоть бы звеньшко семужье, – подступился Саня, не особо пока надеясь на удачу.

– Э... захотел чего. Где ее нынче возьмешь, – упирался Тимоха. – Нынче кругом запреты.

– Ты-то, конечно, не пробовал, – разыгрывал Саня и внутренне смеялся.

– Ну а как... железно... и перышка не обсосал.

– И правильно. За что же тебе такие льготы, милоч? Слышал постановление? Браконьерам – бой! А вы тут, смотрю, ловкачи, – намекнул Саня, а сам, будто случайно, ловко сковырнул с Тимохиной фуфайки семужью чешуину, нарочито пристально рассмотрел ее и даже понюхал, нахал такой, а после деловито завернул в бумажку и сунул в карман. Тимоха поежился, возвращал нарушенным глазом, белок студенисто задрожал, словно бы готовый пролиться на щеку, и лоб побурел, и еще глубже прорезалась тройная морщина.

– Льготы, говоришь?.. А жить?.. Детишка-то по лавкам.

– Чего пасть ширишь, ну? Я тебе, понял?.. – Постучал Саня ногтем по резиновому сапогу, и так у него получилось значительно, что Тимоха осекся и сбавил на полтона.

– Да я что... Говорю только, мол, под одну гребенку всех. Мои-то на рыбе выросли, сам ведь отсюда. Попробуй ее добудь. Мы же не на продажу, на прокорм. Веком так.

– Да не слушай ты его, Тимоха. Заводит он, – неожиданно вмешался Степушка, и мужик словно бы устыдился своей горячности и разом увял, понурился, хлопывая ладонью фуфайку.

– Я-то чего, я не в обиду, Саня. Заело. Жизнь-то: деньга есть, а купить нечего. Кабы купить чего. И деньга, говорю, есть, а как-то колесом уходит, по-дурному. А так бы чего? Живи, все бы ладно. Куда с добром, жись-то. Эдак и не живали еще.

Почуял Саня, что едва не переборщил, всю обедню чуть не испортил, и потому скорее пошел на попятную, стал буровить Тимоху глазками из-под круто надвинутого лба и разжигать в них интерес.

Щекан, поди, а? Зараза... И сам не ам, и людям не дам.

– Да не... ладно. Васька-то чего, Васька еще ничего. Свой хоть, не так обидно. А ловок, злодей, гы-ы, – рыдающим смешком залился Тимоха, и крошки полетели из щербатого попорченного рта. – Ой ловок, собака. Однове-то, слышь, попался я ему, как вошь на гребешок. Зазевался в Курье, морская вода откатила, я и усох в луже. Туда-сюда, бензин зря жгу, а он, зараза, хитер, стоит на бережку да пальцем манит. Распроязви твою мать, думаю, чего ты привязался ко мне, злодей, живым в могилу прячешь. Три семги под телдосами, да сеточки новые – куда их денешь...

– Ловко он. Это штраф-то какой. Семьдесят на три, да сеточки. – Саня зашевелил развесистыми губами, искренне удивляясь итогу.

– Ну...

– Да вот подсчитываю.

– Ну, а я про што. Мечусь по Курье туда-сюда, время тяну. А у него в устье мотор стоит, он меня обкладывает, значит. После на бережок сел, покуривает. Тоска меня съела, куда хошь поди. Заштрафуют, дак баба в избу не пустит. И сеточки новы, жалко, три года убил, вечерами вязал, таки ли сеточки уловистые. Думаю, хитер, однако, бобер, да и я не лыком шит. Ты ведь меня, Санок, знаешь.

– Ну как же. И в корзине уху сварить.

– Время подгадал, гляжу – прилив, вода зажила, вот-вот в реку ход откроется. Подале отъехал, на берег-то вышел и руки поднял. Кричу: «Сдаюсь. Сетки во, бери на!» Щекан не спешит, вижу – лыбится, курва. Я новенькие-то оставил в лодке, а на старые бензину льнул, значит, да и зажег. На, выкуси, кричу, что, съел! Он уже возле, а я в лодку – да и деру. Он орет, значит, стой! А я деру. Только-только из Курьи выскочил.

– Ловко ты его.

– Да какое – ловко. Его обведешь, так и дня не проживешь. Собаку на рыбнадзоре съел. Сижу это я уже дома, ем, значит, с бабой хохочем. Ну, рассказал, что да почем. А Щекан тут и заходит и обгорелую сетку под порог свись. Штраф, значит, плати. Круть-верть, а куда денессе. Ну не гадюка ли? Из полымя выхватил. Пятьдесят рублей псу под хвост. Жена чехвостит: «Не можешь – не берись». Ой жизнь...

– Еще легко отделался.

– Ну...

– А я уж сколькой год свежины не пробовал. Разве мать когда в Ленинград соленькой подкинет. Уж как дерево, хуже трески.

– Это уж чего, это не рыба.

– Ешь, и рот дерет, – осторожно жалобился Саня. Ветер-северик поднялся, причесал траву, на прибрежной луговине продувало насквозь, мокро было, неприятно, хмель неприятно выветрился, тело съежилось, закостенело: какая уж тут рыбалка, не приведи господь, домой бы надо заворачивать, пока беды не случилось, да и Васька Щекан небось протрезвел, пришел в себя и сейчас, с большой-то головой, злой ужасно и беспощадный. А Тимоха блаженствовал, в разговоре расплылся весь, разогрелся, да и винцо легко ударило в голову, а после бессонной ночи много ли надо человеку. Он почти растянулся на брезенте и, привыкший к лесовой воле и бродячей жизни, готов был сейчас покойно уснуть. Фуфаечка у него наотмашь, грудь нараспашку, видны острые смуглые ключицы, но холод не берет мужика.

– Этой рыбки каждый хочет, чего там, – лениво шевелил пятнистыми губами, и голову уже уютно прислонил к локтю. Ему было хорошо тут, и оттого душа с каждой минутой добрела. «И то сказать, – бестолково думал Тимоха, до хруста зевая, – живут в городах беспуту. Да

и какая там к черту жизнь? Не однове бывал. Только устал, нашатаессе – ноги болят, пива напьешься и вылить негде...»

– А у тебя там... ничего? Ну этого. – Покрутил Саня ладонью и прищелкнул пальцами, и даже лисью улыбку родил на лице, но глаза вовсе затаил под нависшим лбом. «Скобарь хренов, – травил душу, уже ненавидя Тимоху. – Тряхнуть бы за воротник».

– Да как чего нет. На бутылек дашь, дак и в расчете, – потерял осторожность Тимоха.

Саня торопливо полез за пазуху, добыл портмоне из тисненой кожи и двумя пальцами выудил новенькую хрустящую пятерку.

– Не-не, сдачи у меня нет, – притворно иль с каким дурашливым расчетом, а может, от давней деревенской простоты и верности данному слову вдруг заотказывался Тимоха Железный. – Ты, брат, тоже деньги не печатаешь? Не печатный, говорю, станок имеешь, деньгами-то соришь. Ну да ладно, руль с меня, должок... Эй, Витьк, – крикнул сыну. – Ту, что на Вакоре взяли... отдай им.

Мальчишка уж вовсе синий, хлюпая носом, из ящика потянул за хвост рыбину, а поднять-то и не смог, и бархатно-черная костяная голова легла у ног, чешуя на брюшине и под перьями тускло отблескивала, и сквозь просвечивал молодой янтарный жирок. «Во полотуха, – обрадовался Саня, мысленно возвращаясь в прежнее деревенское житье и вспоминая давние рыбацкие удачи. Даже слова деревенские и приметы, будто бы напрочь забытые, вдруг родились в нем. – Во полено, кэгэ пять вытянет. За такую чурку в городе сто рэ и с руками оторвут». Все прикинул и подсчитал мигом, пока с трудом закатывал семгу в опустевшую дерматиновую сумку, но на лице, однако, хранил постную и пустенькую улыбку.

– С лодкой-то чего там? – вспомнил вдруг Тимоха. – Эй, Витьк, сынок, а ну глянь, чего тамотки с мотором?.. За механика у меня, – похвалился, довольный.

– Да уж все, – без смущенья признался Саня и снисходительно прихлопнул мужика по плечу. – Орел, гляжу...

– Да и ты не пальцем делан. На арапа норовишь.

И они дружелюбно рассмеялись, довольные жизнью и друг другом. Саня уже представлял, как похвастает семгой в Ленинграде в близком кругу, подсолит ее скромненько, дня два даст выстояться, а после напластает истекающее жиром рыбье мясо, как ведется в родной Кучеме испокон (не тонкими городскими ломотечками нарежет, которые просвечивают банными листиками, а именно напластает малосолку весомыми кусками), и тарелку, арбузно пламенеющую, небрежно, с пристуком водрузит в середку полированного стола да окружит полуджиной белого вина, прямо из холодильника, слегка прихваченного инеем, и будет тогда ой как горделиво и радостно от собственной щедрости.

А у Тимохи свое крохотное веселье: уж так ловко выудил пятерку, прямо не отходя от кассы, посреди реки, и не надо будет нынче клянуть у бабы на опохмелку иль тайком рыться в шифоньере, отыскивая схорон, а можно прямым ходом двинуть в лавку за светленькой и отовариться со спокойной душой. В общем, пустячок-пустячок, а приятно.

Степушка угрюмо копался в лодке, разбирая поудобнее кладь.

– Эй, долго ты там?

И едва Саня успел занести ноги в посудину, как Степушка резко, с надсадистым хрипом выпехнул шестом лодку на речную струю и запустил мотор. Усаживаясь, Саня подтянул поближе к себе дерматиновую сумку и, чуя ее грузность, весело подумал: «Да не-е, пожалуй, все семь кило тянет».

– Ты слышь, ты не гляди на меня, как волк на бердану, – подмигнул Саня. – Мне завтра отлетать, мне рыба во как нужна, – черкнул ладонью по шее. – А ты успеешь, раз остаться решил.

Но брат не ответил, отвернулся в сторону берега и до самой деревни не проронил ни слова. Дом приближался, а Степушка мрачнел и горбился все более, и, когда порой вскиды-

вался он, оглядываясь вокруг, в глазах его плескалась такая тяжелая звериная тоска, что даже Сане становилось не по себе. И тут ему впервые вспомнилась жена (как-то отрожалась она там, не случилось бы какой беды), и чувство вины слегка царапнуло душу.

По внезапному наитию или постоянному ожиданию опасности, но сразу в избу не пошли, а бельевую корзину со снастью и сумку с рыбой занесли в баню, сунули под лавку в настуженных сенцах. Баню, видно, только что протопили, и еще горчило угаром. Знать, мать постаралась, и хоть дулась на сыновей, но и не забывала о них и, не ведая, когда вернутся, на всякий случай подкинула в каменицу дровишек и, как всегда, угадала. Сгодилась баня, в самую пору пришлось.

Избу тоже помыли, выскоблили после гулеванья, винной запах истончился, его перешибло березовым листом. Параскева Осиповна сидела на прежнем месте в переднем углу, словно бы и не покидала его, скрестив босые отекишие ноги. На детей глянула холодно, буркнула лишь, обирая ладонями сивую голову:

– Баня поспела... Идите, коли хотите.

– Я пас... я пас. Жары не переносу, – торопливо заотказывался Саня. – Ты, Степка, то-то не забудь.

8

Степушка маетно потыкался по углам, мать возилась у обеденного шкафа отвернувшись: сутулая спина каменно и неприступно горбилась. В сени вышел слепо, как бы на ощупь, возле ворот притих, не решаясь откинуть щеколду. Тихой стала изба, точно вымерла после свадьбы, только в волоковое оконце на повети с подвывом совался ветер, да где-то на подволоке шуршали, ссыхаясь, веники. Прислушался Степушка, затаил дыхание, стеснил в груди, и там, в горенке, за дверью, обитой кошмой, уловил почти бесплотное шелестенье шагов. Кто-то пугливо таился там иль подслушивал, знать... И оттого, что все творилось так глупо до смехотворности и непоправимо, Степушка вновь вскипел и, злобно дурачась, с грохотом распахнул ворота, неожиданно загремел тазом о косяк и едва не выронил его, и сердце мучительно оцепенело.

– Сте-пуш-ка-а, – позвали сзади робко.

Может, ослышался, может, половица где-то скрипнула иль ветер вздохнул? Но обернулся резко, словно бы готовый ударить, ошетинился весь, а Люба готово приникла к Степушкиной груди, пробежала пальцами по пуговкам байковой рубахи, пропитанной потом и костровым дымом, и неслышно скользнула ладонью за пазуху, к самому телу. От прохладного прикосновенья Степушка вздрогнул весь и, внешне оставаясь неприступным еще, в душе уже простил.

– Пощади, а? – попросила Люба жалобно, не поднимая глаз. И от одного только покорного слова, лишнего какого-либо упрека, Степушка почувствовал такую виноватость, от которой загорелись уши, все напряглось внутри, готовое лопнуть, рванулось к самому горлу щемящим комом, а после ослабло, отпустило, дыханье родилось ровнее, но почему-то слеза выступила, мелконькая, едкая, радостная, и повисла на опаленной реснице, мешая смотреть.

– Какой я дурак. И чего я так?.. Дурачина, остолоп.

– Успокойся. Оба хороши, чего там.

Люба затаилась на груди, как мышка, от ее ровно прибранной черноволосой головы пахло земляничным мылом и горьковатой полынной сухостью.

– Можно я с тобой? – попросилась вдруг и оробела.

– Я же в баню...

– Ну да...

– А ловко ли? – смутился Степушка и услышал, как вновь зажглись уши, уже от стеснения. Ему никогда не случалось мыться с женщиной (единственно разве с матерью в далеком детстве, но то иное дело), и в этом он видел какой-то особо сладкий и запретный грех. Люба уловила заминку и, мучаясь от желанья и стыда, шепнула:

– Провожу только... Хорошо?

А на улице распогодилось, как в день свадьбы, ветер раздернул облака, и сухая стылая голубизна пролилась на дорожную хлябь, высветила деревню: куда-то угрюмость пропала, и даль, омытая луковой желтизной, празднично загорелась. Улицу перебежали, словно боясь, что их стерегут, грязь хлестнула по голым икрам, и Люба охнула, а после засмеялась тонко, с близкой слезой.

– Чего ты? – грубовато спросил Степушка, зорко и подозрительно оглядываясь, но угор сиротски пустел, и только черная поджарая собака упрямо сторожила кого-то.

– Глупые мы...

– Аха...

Стояли у бани и медлили, дверь в сенцы была подперта осиновым колом, и сквозь задымленные отпотевшие щели пробивало настоявшейся горечью. О чем было говорить – не знали, но упрямо тянули время, каждый порывался что-то сказать и боялся неожиданным неверным словом нарушить вновь зародившееся доверье.

– Ну, пошла я, – шепнула Люба, а сама о чем-то молит, и в черемуховых напрягшихся глазах студенисто переливается настоявшаяся влага. Степушка отпнул ногой кол, скрипучая дверца сама откатилась, зазывая в сумерки, и, то ли прощаясь, а может, подталкивая мужа, Люба взмахнула ладошкой, но Степушка торопливо поймал ее и потянул за собой. А дальше все случилось, как во сне, и смутно воспринималось. Люба затаилась в сенцах на лавке, а Степушка накинул на каменицу ковш-другой крутого кипятка. Переждали, пока мохнатый хвост шипуче тянулся, унося в себе угар.

Сидели молча на разных лавках, боялись поднять глаза. Женское чутье подсказало Любе, и она деревянным голосом попросила, дескать, отвернись, будь человеком, нечего глаза пялить, и Степушка послушно устался в угол, каменея весь, но странно и любопытно подмечая, как от долгого жара закурчавился в пазах мох и тонкие волоконца его, похожие на человеческий волос, колыхаются от невидимых встречных токов. Дверь в баню с потягом закрылась, и, возбуждаясь, Степушка торопливо скинул одежды, наружные воротца закрепил на крюк и, прикрывшись ладонями насколько возможно, вошел в парильню. Половицы студили ноги, из щелей при каждом шаге прыскала осенняя застойная вода, крохотное оконце, выдавленное в прошлое мытье и заткнутое сейчас рукавом от фуфайки, не впускало осенний прозрачный день, и в дальних углах густел тот зимний мрак, когдаходишь с керосинкой, а свет не в силах просочиться сквозь дегтярную темь, и тогда чудится, что там, на полке, кто-то таится, окаянный и властный распорядиться человеческой судьбой, кого прежде называли хозяином-баннушкой и норовили не гневить.

Словно бы многослойной омутной водой была залита сейчас баня, и там, где-то на самом дне, едва проглядывалось что-то белое, зыбкое и заманное. Воздух струился жаркий до густоты, а казался зябким, когда Степушка мягко подбирался к жене. Он впервые видел девушку столь откровенно обнаженной и беззащитной, и эта доверчивая открытость опьянила и оглушила его. Люба лежала на спине посреди полка, возвышенье, сбитое из плах, размывалось в темени, и казалось, что жена бесплотно, крылато колыхается в душном воздухе и достаточно едва осязаемого прикосновенья иль даже резкого вздоха, чтобы она недосыгаемо вознеслась. Больно ушибаясь коленками о скамью, Степушка полез на полку, а Люба неслышно отодвинулась, и он вытянулся рядом, чувствуя, как дрожит ее тело. Сердце Степушкино вдруг распухло, едва умещаясь за ребрами, кровь заковала в висках, и безвольный озноб окатил каждую жилку ждущего тела. Было тесно на узкой столетие, руке не находилось места, и она невольно натыкалась на Любино тело, кажущееся странно холодным.

– Муж ты мой, – вдруг дрожаще шепнула жена и повернула голову. Степушка напрягся, стараясь подавить предательскую противную дрожь, и, приблизившись вплотную к Любиному лицу, понял, что она плачет.

– Ну что ты... вот тоже, чего плачешь-то? – бестолково домогался ответа, целовал соленые глаза и податливые губы, а мужская жадная ладонь уже беспамятно и торопливо вершила свое вековечное дело, зовуще жамкала скрипящие кочашки грудей.

– Боюсь я, – сказала и заплакала пуще. Но кто, какой тайный советник подсказал Степушке единственные в то время слова?

– И я боюсь, – сознался он вдруг, и это было откровением. Он случайно знал женщину лишь однажды, но она часто вспоминалась в минуты глухого одиночества с какой-то гнетущей тоской и отвращением. И всегда воображение рисовало мучнисто-серое лицо и сальные волосы распластанные на клетчатой подушке, и безгрудое плоское тело, словно бы деревянное, натуго опеленутое в грубую рубаху, которая чудилась ее шершавой и грязной кожей, а она отчего-то никак не хотела сбросить ее, как ни умолял, стараясь быть благородным, а втайне робея. После он что-то, кажется, неумело вытворял с той девкой, а ей не нравилось, и она капризничала и откровенно издевалась над его беспомощностью, а после он пьяно плакал, размазывая слезы, и умолял простить, и в этом опустошении уснул; а утром так тошно было ему очнуться в непри-

бранной комнатенке, пахнувшей уборной и сыростью у белесого оконца, часто закрещенного хлипкими переплетами, и при грустном зимнем свете увидеть вдруг усталое женское лицо, страдальчески сморщенное в переносице, а после украдкой одеваться и убегать, чтобы после никогда более не переступить порог случайного свиданья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.